

Елизавета Николаевна Водовозова

# На заре жизни. Том второй



Елизавета Водовозова  
**На заре жизни. Том второй**

«Public Domain»

1911

## **Водовозова Е. Н.**

На заре жизни. Том второй / Е. Н. Водовозова — «Public Domain», 1911

«Через несколько часов после того, как я с великим трепетом в последний раз стояла перед строгим ареопагом институтских экзаменаторов, моя мать везла меня в дом своего родного брата Ивана Степановича Гонецкого и его жены Любовь Дмитриевны. Несколько офицеров, ежедневно обедавших у дядюшки, как у своего полкового командира, и другие гости – дамы и мужчины, все светское, исключительно военное общество – уже садились за стол...»

## Содержание

Часть III	5
Глава XIV	5
Глава XV	17
Конец ознакомительного фрагмента.	41

# Елизавета Водовозова

## На заре жизни. Том второй

### Часть III

#### Шестидесятые годы

#### Глава XIV

##### На воле

*Жизнь в доме родственников. – Самостоятельный выезд и полная его неудача*

Через несколько часов после того, как я с великим трепетом в последний раз стояла перед строгим ареопагом институтских экзаменаторов, моя мать везла меня в дом своего родного брата Ивана Степановича Гонецкого и его жены Любовь Дмитриевны. Несколько офицеров, ежедневно обедавших у дядюшки, как у своего полкового командира, и другие гости – дамы и мужчины, все светское, исключительно военное общество – уже садились за стол. Меня подводили то к одной, то к другой даме, представляли, что-то говорили, но я ничего не понимала, подавленная и смущенная массой впечатлений. Несколько часов тому назад я еще трепетала за исход последнего экзамена, вынесла разнообразные напутственные речи моего начальства, а теперь я на воле, в первый раз в жизни попала в большое общество. Я делала реверансы часто без нужды, невпопад отвечала «да» и «нет», замечала это сама и еще сильнее конфузилась.

В первый раз сидя за большим обедом не с институтскими подругами, я мучительно раздумывала: «Можно ли съесть весь суп, налитый мне на тарелку, или хороший тон и приличие обязывают оставлять что-нибудь. Не будут ли дрожать у меня руки, когда я начну резать жаркое; не опрокину ли я чего-нибудь нечаянно?» Я так опасалась всего этого, что, покончив с супом, наотрез отказалась от дальнейшей еды, хотя весь день у меня ничего не было во рту.

Обед окончен: мужчины уходят курить в кабинет к дяде, дамы отправляются в гостиную. Сердце бьется уже не так тревожно, и я начинаю прислушиваться к разговорам дам. Оживленно болтают о покроях платьев, о модных шляпках. «Как, разве можно говорить теперь о таких пустяках?» – совершенно серьезно спрашиваю я себя.

Новая система обучения в институте, введенная Ушинским, который к тому же сам лично имел громадное влияние на институток, заставила нас в последние полтора года серьезно поработать над своим образованием. Но это дало нам лишь кое-какие элементарные сведения по некоторым отраслям знания, но не могло подготовить к жизни нас, с раннего детства изолированных от нее. Многие идеи шестидесятых годов, бродившие в обществе, проникали и через наши толстые стены, но большею частью в совершенно искаженном виде, и в нашем мозгу в конце концов образовался какой-то хаос. Я лично вынесла убеждение, что теперь стыдно в обществе вести разговоры о туалетах, что все без исключения заняты ныне разрешением серьезных вопросов, но какие из них можно считать таковыми, я в этом не всегда разбиралась. Не имела я ни малейшего представления и о том круге людей, в среду которых я случайно попала.

Новые мои знакомые, почти исключительно из военного круга, продолжали и в шестидесятые годы свой прежний образ жизни, ничего общего не имевший с идеалами тогдашнего общества. Правда, кое-кто из людей этой среды тоже окунулся в водоворот тогдашней

кипучей жизни, но, во всяком случае, таких было крайне мало. Мои же новые знакомые стояли в стороне от общественного движения. До них доносился лишь весьма отдаленный шум бурного потока, который с могучею силою несся по русской земле. До их ушей доходили обыкновенно только курьезы и пошлости, выкидываемые, если можно так назвать, «формалистами движения» этой эпохи, которые только по внешности придерживались идей и стремлений шестидесятых годов. Под их покровом они проделывали вещи нередко весьма безобразные и пошлые, одни – вследствие своего скудоумия, другие – для того, чтобы ловить рыбу в мутной воде. Узнавая только курьезы о последователях новых идей, знакомые моего дяди высмеивали все общественное движение, рассказывали о нем небылицы и представляли все и всех в комическом виде.

К нам в гостиную начали входить мужчины. Подле меня сел один из офицеров и спросил, почему я не принимаю никакого участия в разговоре. Я отвечала, что тут говорят о модах, о которых я не имею никакого понятия, да они меня и не интересуют. При своей экспансивности и наивности я имела глупость прибавить еще:

– Я думала, что услышу рассуждения о литературных произведениях, о правах человека, а тут болтают только о тряпках...

– Не советую вам, *mademoiselle*, идти по этой стезе... Этак, пожалуй, вас скоро увлекут девицы, которые отрезают свои косы, и молодые люди, разгуливающие лохматыми!.. Да-с, теперь молодежь перестает мыться, чесаться и прилично одеваться, и все это чтобы выгадать время для изучения наук!.. Неужели ради этого и вы погубите ваши косы?

В эту минуту к нам вошел дядя и предложил потанцевать. Одна из дам села за рояль, и я весь вечер с увлечением носилась в вальсах и польках. Офицер, который высказал опасение за участь моих кос, заметил мне, что теперь он успокаивается насчет моей будущности: страсть к танцам удержит меня «от неприличного общества экстравагантных лохмачей обоего пола».

Первые недели, проведенные в доме родственников, сонная, однообразная жизнь, пустые разговоры окружающих все сильнее угнетали меня. Сильно возмущала меня и нравственная сторона этих людей. Я постоянно замечала лицемерие, фальшь и угодничество подчиненных офицеров относительно моих превосходительных родственников, их любезную готовность служить им, выказываемую в их присутствии, и беззастенчивые насмешки над ними за их спиной. Что касается моей тетушки, то она особенно поражала меня своим ничегонеделанием, растительною жизнью, которую она вела, необыкновенною сонливостью и интересами, проявляемыми ею лишь к мелочам.

Это была женщина роста выше среднего, в ту пору лет под сорок, с остатками если не красоты, то миловидности и светского изящества; но ее чрезвычайно портила улыбка, застывшая на губах ее неживленного лица. Она просила меня называть себя не тетя (что она находила вульгарным), а «*ma tante*», была чрезвычайно любезна со мною, но истинной доброты от нее я не видала, – по своей натуре она вообще была к добру и злу совершенно равнодушна.

Когда она приходила в столовую утром, она долго перемывала уже вымытую посуду, а покончив со своими «чайными обязанностями», отправлялась в сопровождении лакея осматривать комнаты; при этом она поднимала с пола и мебели каждую соринку, кусочек ниточки или оброненную булавку и, указывая находку, спрашивала своим обычным спокойным голосом:

– А это что же? Получался ответ:

– Вероятно, маленький барин изволили обронить.

– А на вазе опять грязь? – спрашивала генеральша.

– Да ведь это муха! Разве ее уследишь, треклятую? Где села, там и нагадила!

– Рассуждения о мухе можешь оставить при себе. Все свои замечания тетушка высказывала, не повышая и не понижая тона, без запальчивости и раздражения, но так как ежедневно на нескольких предметах она усматривала что-нибудь, не согласовавшееся с ее понятием об идеальной чистоте и аккуратности, то обыкновенно приказывала по нескольку раз в день подметать добрую половину своей огромной казенной квартиры. Несмотря на то что генеральша держала себя с прислугою без окриков и брани, та ненавидела ее как за придиричивость ко всякой мелочи, так и за требовательность какой-то сверхъестественной чистоты, а еще больше за ужасающую скупость. Повар не смел поставить суп на плиту, не доложив ей об этом, и по числу обедающих должен был при ней наливать в кастрюлю известное количество кружек воды. В ее комодах, в разных узелках и мешочках хранились самые крошечные обрезки материй и полотна. Когда приходилось чинить белье или платье детям, генеральша, прежде чем выдать горничной лоскуток, долго приноравливала его к дырке, чтобы не дать обрезок чуть-чуть больше того, чем было нужно. Если кто из прислуги жил в ее доме подолгу, то только благодаря ее супругу, которого домашние служащие очень любили.

Вспыльчивый, крикливый и шумливый генерал был по натуре жалостливым и добрым человеком. После вспышки гнева, во время которой он осыпал провинившегося, а иногда и невинного, отборного русскою бранью, он то и дело потихоньку совал обиженному им рублевку или трешницу, но под условием не сместь пикнуть об этом генеральше.

Обзор комнат так утомлял пользующуюся неизменно превосходным здоровьем генеральшу, что она часа за полтора до утреннего завтрака ложилась отдохнуть. Добросовестно выполнив обязанности хозяйки дома, она немедленно засыпала так крепко, что ее приходилось долго будить каждый раз, когда кушанье было подано. Ее способность спать долго и много была просто изумительна. Так же крепко спала она и перед обедом, и перед вечерним чаем, и этот троекратный отдых днем при совершенном отсутствии физической и умственной деятельности совсем не мешал ее крепкому сну по ночам. Если приезд гостей или выезд с визитами выбивал ее из обычной колеи, она наверстывала свой сон, ложась в постель тотчас после вечернего чая, и тогда уже спала до следующего дня по тринадцать и четырнадцать часов сряду.

Ее супруг обладал живым темпераментом и отличался противоположными свойствами. При деятельной натуре, его, видимо, поражала в жене ее необыкновенная склонность ко сну, и он вечно подтрунивал над нею. Когда она заспанная выходила к вечернему чаю, он, сдерживая свою смешливость, говорил: «Сегодня, кажется, было особенно сладкое „до“, но, может быть, это было „по“?» («до» и «по» он называл привычку жены спать *до* и *после* еды). Этого было совершенно достаточно, чтобы прогнать с глаз генеральши последние остатки сна. Она, по собственному признанию, никогда не испытывала к кому бы то ни было ни страстной любви, ни ненависти; ее кровь всегда спокойно переливалась в жилах, но эта насмешка мужа выводила ее из себя и волновала до такой степени, что ложки и стаканы, которые она перетирала, звенели в ее руках. Она бросала на мужа взгляд презрительной укоризны и отвечала своим спокойным голосом: «Да, я заснула». Но генерал уже не мог сдерживаться: он фыркал так, что чай брызгал у него изо рта.

– Вместо того чтобы делать совсем неподходящие замечания другим, вам бы давно следовало выучиться, пить чай поприличнее... – холодно отчеканивала генеральша.

– Из-за чего же тут обижаться, мой друг? Уверю тебя... я всегда изумляюсь твоему постоянству и выдержке. Если, например, солдат перед сражением...

– Потрудитесь передать солдату то, что ему нужно знать, а меня прошу уволить! – И она гордо и не торопясь выходила из столовой.

За нею быстро бежал генерал, упрасывая ее не сердиться, но, когда возвращался в столовую, еще долго сморкался и кашлял, подавляя смех, снова и снова душивший его.

Обед и завтрак для генеральши – самое напряженное время: трое ее детей (два мальчика и девочка) вбегали тогда в столовую в сопровождении бонны. Их неугомонность, шаловливость, непоседливость, перескакивание с места на место повергали их мать в отчаяние. Но она и на них не кричала, не давала им эпитетов «болванов», которыми нередко осыпал их отец, не грозила им, как он, «розгачами» и «березовой кашей», но отстраняла их руки, хватавшие со стола все, что попадалось, и с мукою в голосе произносила: «Разве это прилично?»

После завтрака, если она не выезжала с визитом, она садилась за работу: починка лопнувших швов на лайковых перчатках и пришивка к ним пуговок были ее единственным рукоделием. В такое время она приглашала меня поболтать с нею до наступления ее предобеденного сна, но затем решила утилизировать этот час с большею пользою и просила меня читать детям народные сказки, говоря, что знакомство с народным языком, как она слыхала, считается теперь необходимым. Один из офицеров по ее просьбе принес какой-то сборник для учащихся, и я начала читать одну из сказок, но, как только попадалось какое-нибудь выражение вроде «простофиля», «дурачина», «бесы», «черти», тетушка приходила в ужас, находя их крайне вульгарными. Она просила меня заменить эту книгу Кольцовым, но, когда я прочла несколько его стихотворений, она вознегодовала еще более. «Какую пользу, – рассуждала она, – может принести знание таких мужицких выражений, как „раззудись, плечо“, „горит горма“, „старый хрен заупрямился“? Речь образованного человека всегда должна отличаться отсутствием грубых выражений!» Относительно стихотворения «Дума сокола» она заметила: «Какая глупая мысль идти куда глаза глядят! Это, конечно, понравится детям, но им необходимо внушить стремление, обратное тому, что проповедует Кольцов. Люди должны отдавать себе отчет в том, что делают, а не идти куда глаза глядят!»

Когда Кольцова я заменила сказками Пушкина, от тетушки досталось и последнему.

Я спросила ее, неужели раньше она не читала ни Пушкина, ни Кольцова и не училась русской литературе? Она отвечала, что, конечно, училась, даже множество стихотворений Пушкина у нее переписаны в альбомчике, но что все эти пустяки у нее, слава богу, давно испарились из головы.

Постоянно выслушивая жалобы тетушки на то, как для нее утомительны и несносны визиты, вечера, театры, гости, званые обеды, я с удивлением спрашивала, кто ее вынуждает ко всему этому.

– Положение мужа... Наконец, все так живут! Если бы я могла делать то, что хочу, я никогда не вставала бы с своей софы.

Первое время меня сильно интересовала тетушка, как особа без каких бы то ни было личных желаний, вкусов, интересов, самых элементарных человеческих требований, даже без стремления к простому движению, пока я не поняла, что она всецело принадлежит к растительному миру.

– Почему вы не выберете себе знакомых по вашему вкусу, из людей, которые не стесняли бы вас?

Она просто отвечала:

– Разве не все равно, один или другой? Мне и в молодости было решительно все равно, кто будет нас посещать – те или другие знакомые, лишь бы это были люди приличные!

– А театры? Неужели и они не доставляют вам удовольствия?

– Конечно, театры несколько развлекают, но ведь и для них необходимы сборы: одеваться, ходить по лестницам, ехать. Во всяком случае, никакое представление не увлекало меня так, как тебя. Ты ведь голову теряешь в театре: перевешиваешься через барьер, плачешь, смеешься! У меня и в ранней молодости никогда не было такой экзальтации, да ее и не может быть там, где девушек воспитывают надлежащим образом.

На мое замечание, что она проповедует такой индифферентизм ко всему на свете, точно сама разочаровалась во всем, тетушка очень посмеялась над моею наивностью.

– Благодаря разумному воспитанию, – возразила она, – меня не допускали до восторгов, и я в большом выигрыше: не испытала в жизни никаких разочарований. В прежние времена девушки, небрежно воспитанные, мечтали при луне, но, по крайней мере, от этого им не было ни тепло ни холодно... Ну, а теперь это кончается более трагично: они волнуются, кипятятся, влюбляются в кого попало, даже в таких бедняков, которые не могут прокормить семьи. О мое дитя, пожалуйста, подумай об этом... Только в глупых и очень вредных романах можно проводить мысль, что с милым рай и в шалаше! В действительности же мечты о шалаше испаряются очень скоро, и наступает период разочарования, а еще чаще злобы ко всему, кто лучше одет, кто катается в хорошем экипаже! Вот почему эти несчастные смотрят на нас, как на бездушных созданий! Уверю тебя, все это из зависти... Помни, дитя, что Даже для того, чтобы делать добро, как проповедуют писатели, необходимо быть богатой.

Обычные посетители дома моих родственников мало интересовали меня и были для меня весьма несимпатичны. Как, уже было сказано выше, у дяди, как у полкового командира, ежедневно обедало несколько офицеров его полка. Как-то пришли они немного раньше обеденного часа, и лакей, вводя их в столовую и не зная, что мы с тетушкой уже возвратились с прогулки, сказал им, что нас не было дома, а между тем мы сидели в комнате, соседней со столовой, и слышали разговор офицеров между собой. Один из них передавал другому о том, что однажды видел, как «скареда» (он так честил тетушку) собирала после гостей остатки фруктов в особую корзину и сливала недопитое вино, дополняя им начатые бутылки. Другой рассказывал о том, какое страдание выражается на ее «каменном лице», когда ей приходится класть сахар в стаканы гостям. Тетушка при этом вспыхнула и головой показала мне на дверь. Мы встали и тихо вышли в другую комнату.

Пораженная поведением ее гостей-завсегдатаев, я с возмущением громила их за лицемерие и фальшь, но тетушка остановила меня словами: «C'est la vie!»<sup>1</sup> Когда мы сели за обед, она обращалась с офицерами, только что ужасно отзывавшимися о ней, с своею обычною вежливостью, предупредительностью и любезностью. Я уверена, что об этом инциденте она не рассказала своему мужу, потому что тот и сам частенько конфузился ее скаредности.

Дядюшка своею природною живостью, простотою и искреннею добротою ко мне нравился мне несравненно более своею «каменной супруги», но и он своими рассказами, шутками и прибаутками во время наших продолжительных обедов повергал меня в отчаянное смущение. Когда анекдот достигал до апогея скабрёзности, тетушка прерывала увлекшегося супруга словами, которые она почему-то всегда находила необходимым сказать по-французски: «Прекратите же наконец! Ведь ваша племянница – молодая девушка!» Дядюшка все-таки оканчивал начатое, но уже в сокращенном виде, сопровождая некоторые слова хохотом и фырканьем. Присутствующие вторили смеху его превосходительства. Я обыкновенно не понимала, в чем была тут соль, впрочем, соли, вероятно, и не было, а была только одна сальность. Я по крайней мере чувствовала лишь то, что в повествовании дядюшки было что-то грязное, чего не следовало рассказывать. Но нередко и те рассказы, в которых не было скабрёзности, возмущали меня до глубины души.

– Вчера приходит ко мне с докладом солдат моего полка, – ораторствует он. – А я уже кое-что слышал о нем. Он, видите ли, не то какой-то отщепенец, не то старовер или раскольник: уж и не знаю, как там называются у них все эти благоглупости. Как только я его увидел, так и вспомнил эту его чепуху, и меня так и взорвало! Выслушал доклад и спрашиваю: «А как крестишься?» Молчит. «Не слыхал разве, болван, что у тебя спрашивают?» И вдруг, как вы думаете, этот солдат, который всегда был на прекрасном счету, нагло вытягивает передо

---

<sup>1</sup> Такова жизнь! (фр.).

мною два пальца. «А третий, где третий палец, скотина?» Меня это окончательно взбесило... я его так ткнул, что он покатился с лестницы и с верхней площадки до нижней все ступеньки пересчитал! Ну, и затем ему от меня еще порядочно-таки досталось!..

– Héros impertinent!<sup>2</sup> – ударив его по руке веером, кокетливо произнесла его соседка.

– О да... вы действительно истинный защитник нашей православной религии и нашей святой родины! – щебетала другая.

– Вы, дамы, рады преувеличивать наши заслуги! – отшучивался дядюшка.

Он строго распекал каждого кадета, каждого встречного военного, если тот не отдавал ему чести по самому строгому кодексу военных правил. Но застигнутый им врасплох мог несколько смягчить его сердце, если тут же усердно извинялся, призывал бога в свидетели, что не заметил генерала, при этом то и дело прикладывал руку к козырьку, пожирал глазами его превосходительство и всей фигурой изображал страх, почтение и раскаяние. Дядюшка старался выискать малейшее упущение в форме и поведении военного, но не по злобе, которой не отличался, не по честолюбию, которым не страдал, а только потому, что глубоко был убежден в том, что самое ничтожное отступление от дисциплины, как червь, подтачивает все устои и основы русского государства и внедряет в умы подчиненных опасное шатание мысли.

Миросозерцание дядюшки не отличалось ни глубиной, ни сложностью: образ правления, нравы, обычаи, одним словом, все, что было на Западе, он находил глупым, пошлым и смешным, а что было в России – превосходным и трогательным. Вследствие этого он свирепо осуждал всех, кто ездил за границу. Если туда отправлялись лечиться, он считал это идиотством: по его мнению, у нас существуют лечебные местности лучше, а не хуже зарубежных; осуждал и тех, кто ехал за границу, чтобы пожить среди красивой природы, – он находил, что у нас на Кавказе и в Крыму такие чудные места, каких не существует нигде на свете, а тех, кто в западные столицы ездил запасаться туалетами, он считал настоящими преступниками против родины, лоботрясами и пошлыми форсунами, так как они в таких случаях, по его мнению, поощряли западноевропейскую промышленность в ущерб родной, русской.

Однажды он отправился со мной в магазин игрушек и потребовал игрушечную мебель. Когда она была ему подана, он заметил торговцу, что цена несообразно высока, а тот оправдывался тем, что это вещи парижские, хотя и дорогие, но зато превосходной работы.

– Молчать, дубина! – загремел генерал. – Значит, по-твоему, все русское дрянь? Если ты родину любишь и порядочный торговец, ты должен был бы держать только свое, русское.

Ему подают дешевые русские игрушки, но он находит их негодными, и перед ним снова раскрывают ящик с французскими изделиями, не указывая на штемпель. Он одобряет их, платит деньги и уходит. Дома, развернув покупку, он находит французское клеймо, раздражается ругательствами, дает слово возвратит купленное, но затем, махнув рукой, дарит игрушки детям.

Будучи по натуре добрым, даже мягкосердечным и участливым, он проявлял эти качества лишь в семейной, обыденной жизни, но был до невероятности жесток, когда дело касалось людей, уличенных в политической неблагонадежности. Он готов был помогать и великодушно помогал каждому бедняку, которого встречал, но, избавляя от нищеты ты одного, он мог тут же изувечить другого, унижить и насмеяться над его человеческим достоинством, если только тот не исповедовал его допотопных идеалов, служения православию, самодержавию и народности, не разделял его упрощенной обывательской морали.

Особенную ненависть и презрение вызывали в нем политические преступники. Какую бы жестокою кару ни несли они за свои поступки, он всегда обвинял правительство в слиш-

---

<sup>2</sup> Дерзновенный герой! (фр.).

ком большом снисхождении к ним, находил, что если бы он лично взялся за истребление «этой шайки отъявленных негодяев и величайших в России преступников», их бы через месяц-другой не осталось и следа.

– Вы говорите, что этих голоштанников, этих шутов гороховых будут судить? – спрашивал он, когда услышал об одном политическом процессе. – Удивительно, как не понимают того, что такое отношение слишком большая честь для них! Каждому, кто уличен в политической неблагонадежности, прежде всего следует всыпать горячих розгачей, а тех из них, кто посмелее кричит о братстве, равенстве, свободе и о другом в таком же роде бессмысленном вздоре, отодрать шпицрутенами! – Дядюшка был искренно убежден в том, что, если к людям политически неблагонадежным была бы применена подобная мера, все политические преступления исчезнут с лица русской земли, как по мановению волшебного жезла.

Он неумолимо заботился о благосостоянии солдат, но как к ним, так и ко всем подчиненным был чрезвычайно требователен и жестоко карал за малейшее нарушение дисциплины. Человек он был малообразованный и совсем неначитанный: получив лишь плохое корпусное образование, он никогда не пополнял его. Он часто усматривал потрясение государственных основ там, где их не было и следа, иногда открывал их в самом легком нарушении правил военной службы, а в гражданской жизни – в устном или печатном выражении либеральных мнений.

Добросовестный, строго исполнительный по службе, генерал Гонецкий всеми фибрами своего существа был преданным рабом самодержавия и служил верою, правдою и своею кровью всем трем монархам, в царствование которых он жил. Без колебаний и страха он всегда готов был отдать свою жизнь за каждого из них, и ни в больших, ни в малых чинах никогда не прибегал к лести перед сильными мира: своим быстрым повышением по службе он был обязан исключительно своей необыкновенной храбрости и безукоризненному исполнению своих обязанностей. И в молодости, и на старости лет, уже в самом высоком положении, он держал себя чрезвычайно просто со всеми и гордился тем, что всем «режет в глаза правду-матку». И это было вполне справедливо: в его преданности царю было много прямоты и безукоризненной честности, что особенно подтверждает один оригинальный инцидент, случившийся с ним несколько позднее описываемого мною времени и рассказанный им самим мне и моему мужу под величайшим секретом через несколько лет после «происшествия».

Когда после усмирения польского восстания 1863 года, во время которого генерал Гонецкий отличился, он явился во дворец по поводу назначения ему значительной награды, у императора Александра II находился в эту минуту его брат, великий князь Константин Николаевич.

В известном кругу русского общества существовал в это время убеждение, что польский мятеж вспыхнул вследствие того, что русские власти мирволили полякам и что тон этой опасной для России миролюбивой политике давал не кто иной, как наместник Царства Польского великий князь Константин Николаевич.

Известно, что великий князь Константин Николаевич имел большое влияние на дела государства (в период 1856–1862 годов) и стоял во главе прогрессивной партии правительства, между тем Иван Степанович Гонецкий был диким консерватором и всю жизнь придерживался совершенно противоположных взглядов. Уже одно это давало возможности Ивану Степановичу относиться к брату государя с таким же благоговением и любовью, с какими он относился ко всем остальным членам царской фамилии. Когда же в известной части общества стали осуждать великого князя Константина Николаевича за то, что он мирволил полякам, верноподданническое сердце Ивана Степановича вскипело негодованием.

Великий князь Константин Николаевич не мог, конечно, ожидать проявления враждебных чувств к себе от такого человека, как генерал Гонецкий, который прославился своею

неподкупною, беспредельною преданностью царю и его семейству; проходя через приемную и заметив в ней генерала, он сказал радушно: «А, Гонецкий» и протянул ему руку. Вместо того чтобы пожать протянутую руку, Иван Степанович заложил свои руки за спину со словами: «Врагу моего государя и отечества руки подать не могу!» Пораженный этими словами, великий князь бросился в кабинет своего брата, с которым и вышел в приемную через несколько минут. Взбешенный государь закричал Ивану Степановичу, что еще не было примера такой неслыханной дерзости, нанесенной в его собственном доме самому близкому члену его семьи.

Таким образом, мой дядя хотя и был рабом своего государя, но не корыстным, вероломным и лукавым, какими обыкновенно бывают рабы, а честным, преисполненным искренней любви, готовым пролить за царя и отечество всю кровь до последней капли.

Хотя, благодаря доброте и вниманию ко мне дяди, мне удавалось довольно часто посещать оперу и драматические представления, но общество, окружавшее меня, все более претило мне, и я рвалась в круг людей трудящихся, как это настойчиво советовал мне Ушинский, мнением которого я особенно дорожила, но ни в тот момент, ни в ближайшем будущем не видела возможности попасть в него и посещать лекции, бывшие тогда в большом ходу. Моя мать, занятая своими делами и исполнением разнообразных провинциальных поручений, редко могла сидеть дома. Она не прочь была пускать меня одну, но, когда она однажды высказала это, тетушка ясно и определенно заявила ей, что она считает крайне неприличным для меня, как для молоденькой девушки, выезжать без провожатой, и притом на извозчике. Моя мать убеждала ее, что через месяца два-три, когда я приеду домой, она все равно предоставит мне полную свободу, так как не имеет средств ни нанимать для меня компаньонов, ни держать карету. Тетушка доказывала, что тогда будет другое дело, – она, как мать, может делать со мной, что ей угодно, а теперь, когда вся ответственность за меня лежит на ней, моей тетушке, в доме которой я живу, она убедительно просит отнюдь этого не делать. Матушка дала ей слово вполне подчиняться ее желанию. Но тут же, заметив мое огорчение, тетушка начала утешать меня, давая торжественное обещание, что, если я захочу посещать моих институтских подруг, ее бонна и карета всегда будут к моим услугам.

Однако со стороны тетушки это была одна словесность: бонна постоянно нужна была ее детям, карета всегда была занята, а если освобождалась, то оказывалось, что лошади были утомлены. Матушка тоже скоро убедилась в том, что я не могу рассчитывать на обещания тетушки, тем не менее, когда разговор заходил об этом, она каждый раз подтверждала, что я с своей стороны не имею ни малейшего права нарушить слово, данное тетушке, так как мы обе живем на ее полном иждивении. Это каждый раз вызывало во мне краску стыда и негодования.

– Конечно, вы правы, я должна слепо повиноваться ее распоряжениям, так как ем ее хлеб! Как ужасно быть такою жалкою и несамостоятельною! – говорила я с отчаянием. Матушка сильно подсмеивалась над тем, что я думаю о самостоятельности уже через несколько дней после выхода из института.

Однажды после завтрака кроме меня никого не осталось дома: дядя и тетушка отправились с визитами, чтобы затем ехать на званый обед; моя мать тоже куда-то уехала и должна была возвратиться только к шести часам. После их отъезда я стала расхаживать по анфиладе огромных пустых зал, роскошно обставленных дорогою мебелью. Был холодный, морозный день; еще стояла санная дорога, но солнышко заманчиво и ярко светило в огромные зеркальные стекла окон, выходивших на набережную. У меня сжалось сердце при мысли, что хотя я на воле, но сию взаперти еще при более печальных условиях, чем даже в институте: там были хотя подруги, а тут ни души, с кем можно было бы перекинуться словом. Вдруг я заметила у наших окон извозчиков, когда в сани одного из них садилась какая-то дама. У меня мелькнула мысль, что я могла бы съездить к моей любимой подруге, которая была

в институте экстерной и занимала с своею теткою особое помещение на вдовьей половине Смольного.

«Как приятно, – думала я, – прокатиться в такую чудную погоду и поболтать с подругой!» Эта мысль так овладела мною, что больше я уже ничего не соображала; надеть пальто и шляпу было делом одной минуты, и я очутилась на набережной; я вскочила в первые попавшие сани и приказала везти себя в Смольный. Как это ни невероятно, но, тотчас после выхода из института, я не имела ни малейшего представления о том, что прежде всего следует условиться с извозчиком о цене, не знала, что ему необходимо платить за проезд, и у меня не существовало даже портмоне.

На Николаевском мосту скопилось много экипажей, и мой извозчик поплелся шагом. Вдруг ко мне вплотную подошел какой-то оборванный мастеровой, от которого несло водочным перегаром, и что-то заговорил, размахивая руками прямо в лицо. Это так меня испугало, что я начала кричать во все горло. В эту минуту мы переезжали мост, и только что повернули на левую сторону набережной, как передо мною, точно из земли, вырос офицер с лошадиным лицом, тот самый, который так нелестно отзывался о моей тетушке.

– Стой! – закричал он моему извозчику и обратился ко мне. – Как, вы не в карете? И без *dame de compagnie*?<sup>3</sup> Куда вы отправляетесь? – властно допрашивал он.

– Я вам не обязана отчетом! И вы не смеете в таком тоне разговаривать со мной!

– А!.. Значит, вы устраиваете это *en cachette*!..<sup>4</sup> Просто-напросто убежали без дозволения старших, потому что ваши сегодня уехали! Сейчас... сию минуту... извольте вылезать из саней!.. я вас провожу до дому.

– Как вы смеете мне приказывать? Дрянной, противный человек!

– А, так вот вы как! Прекрасно! Все это будет доложено и вашему дядюшке, и вашей тетушке. Очень порадуете ваших родственников, которые так бесконечно добры к вам!

– Уж никак не вам это говорить! Вы даже не понимаете всей низости предательства!

Покраснев до ушей, офицер резко отошел от моих саней.

Отделавшись от него, я ехала уже далеко не в радужном настроении: меня охватывал страх, что вот-вот ко мне опять кто-нибудь подойдет. Моя тревога еще более усилилась, когда я вдруг вспомнила, что нарушила слово, данное матери и тетушке, и что за это мне придется вынести множество неприятностей.

Но вот я у подъезда института: отстегиваю полость и направляюсь в коридор: чтобы проникнуть в одну из комнат какой-нибудь жилицы вдовьего дома при Смольном, нужно было перейти множество бесконечных и длинейших коридоров. Вдруг я услышала за собой неистовый крик моего возницы: «Деньги, что же деньги?» А затем ряд ругательств, которые он посылал мне вдогонку. «Господи! Как он бесцеремонно требует у меня денег! Значит, он простой разбойник и решил ограбить меня среди белого дня!.. Наверно, сейчас бросится на меня!» И я опрометью побежала дальше. При повороте коридора я столкнулась с Луизою Карловною, добрейшим немецким существом, теткою моей подруги, которую я приехала навестить. С бьющимся сердцем, едва переводя дыхание, я впопыхах, бестолково передавала ей о том, как извозчик хотел меня ограбить. Она ничего не понимала. Подошел и извозчик. Страх нападения при третьем лице не беспокоил меня, и я смело начала обличать его в разбойнических намерениях.

– Подумайте, сударыня, – перебил меня извозчик, обращаясь к Луизе Карловне, – села она со мной с Пятнадцатой линии, не рядилась, думаю, что ж, настоящая барышня, пожалуй, трешницу даст. Весь город проехали, а она как деньги платить – прочь бежать! Ишь ты, думаю, не дам смазурить, лошадь бросил, чтобы, значит, нагнать ее.

---

<sup>3</sup> Здесь: без сопровождающей (*фр.*).

<sup>4</sup> тайком (*фр.*).

Луиза Карловна поняла наконец, в чем дело:

– Я заплачу тебе... барышня ничего не понимает...

– Я тоже смекаю: не то она придурковата, не то блажная какая... На дороге из-за пьяного на всю улицу орала, а тут еще какой-то офицер повстречался, так тот прямо из саней хотел ее высадить: видно, из-за придурковатости такую боязно из дому пускать!.. Так ведь она-то так кричать на него зачала, что тот и отступился.

Я чуть не разрыдалась от этих новых оскорбления. Наконец мы вошли в комнату и уселись. Луиза Карловна спросила у меня о том, как могла я вообразить, что извозчик пове- зет меня даром.

– Я думала, что извозчики представляют своего рода общественное учреждение, кото- рым желающие пользуются бесплатно.

– А вы знаете какие-нибудь такие учреждения?

Мне пришло в голову, что таким общественным учреждением может считаться коло- дезь: никто не спрашивает, когда берут из него воду. И я высказала это Луизе Карловне.

– Если в вашей деревне имеется колодезь, то он, вероятно, был, устроен на деньги вашей матери. Разумеется, ваши рабочие и служащие брали из него воду бесплатно, но дру- гие, конечно, должны были спрашивать позволения.

«Правда, тысячу раз правда! – думала я. – Ведь живя в деревне, я это прекрасно пони- мала, но как-то все это позабыла за время своего институтского воспитания...»

Когда мне пришлось возвращаться домой, заботливая Луиза Карловна приказала нанять для меня извозчика, записала номер пролетки, засунула мне за перчатку мелкие деньги, которые я должна была заплатить за проезд, но провожать меня домой было некому.

Совсем не сладкой показалась мне моя самостоятельность: меня тревожила предсто- ящая сцена с родными за самовольную отлучку, но еще более охватывал ужас при мысли о моей неподготовленности к жизни. И я тут же начала припоминать свои промахи и бес- тактности за время моей двухнедельной свободной жизни. Я не знала, в чем собственно, они проявлялись, но признавала таковыми все то, что при моих словах давало повод при- сутствующим то улыбнуться, то с удивлением взглянуть на меня, то смеющимися глазами подмигнуть на меня соседу, а все эти мелочи я умела хорошо наблюдать. Теперь все это приходило мне в голову и повергало меня в настоящее отчаяние. Мучило меня и то, что в простой обыденной жизни я то и дело не знала, как поступить, не умела отличить мелочного от важного. Я вполне сознавала, что деньги, уплаченные за мой проезд Луизой Карловной, должна будет заплатить моя мать, но я не знала, имела ли я право без предварительного ее разрешения тратить деньги на свои удовольствия, наконец, как считать израсходованную мною сумму – большою или малою, не слишком ли ощутительна будет эта затрата для моей матери, или такие деньги считаются пустяками?

Когда я подробно изложила матери все происшествия моей поездки, она заметила, что все это она сама передаст родным, что лично она не очень строго отнеслась бы к содеянному мною отчасти потому, что в молодости все бывают легкомысленны, к тому же я сама доста- точно намучилась за все это. Тут мы услышали голоса наших в вестибюле, и я убежала к себе.

– Вероятно, все обошлось бы благополучно, – сказала моя мать, входя в нашу комнату, – но мне пришлось удалиться: к брату пришел рыжий офицер, который угрожал донести на тебя, что, конечно, и приводит теперь в исполнение.

Наконец к нам вошел и дядюшка: он молча встал передо мной в свою излюбленную позу, в какой он имел обыкновение произносить длинные речи:

– Ну-с, милая племянница! В этой истории прежде всего скверно то, что ты нарушила приказание, данное тебе женою и соблюдать которое ты дала слово. Твоя мать часто не согла- шается со взглядами жены на все эти ваши женские комильфотности... Вероятно, в этом ты и черпаешь оправдание твоему дерзкому, своевольному поведению! Повторяю, когда ты при-

едешь домой, ты будешь поступать так, как этого желает твоя мать, тут же ты будешь делать только то, что требует от тебя твоя тетушка. Хотя я мало понимаю в ваших женских комильфотностях, но вижу, насколько была права жена, запрещая тебе самостоятельные выезды. Приятно было тебе, когда какой-то пропойца, размахивая грязными ручищами перед твоим носом, обдавал тебя сивухой? А ведь могло бы быть и гораздо хуже: в Другой раз, когда ты опять задумаешь насладиться самостоятельностью, такой оборванец вскочит к тебе в сани с выпученными глазами, чмокнет тебя прямо в губы, выбросит тебя из саней, потащит по снегу, осыпая колотушками и площадными ругательствами...

– Ах, братец, да что же вы это запугиваете бедную девочку! Ведь ничего такого не бывает и не может быть! – прервала его матушка, заметив, что я от страха трясусь как осинный лист.

– Вот видишь ли, сестра, сама ты не умеешь сделать никакого наставления и мне мешаешь! У вас там в провинции, где все знают друг друга, может быть, этого и не бывает, а здесь легко может случиться кое-что и похуже с такой девчонкой, у которой на лице написано, что она ничего не понимает. (Он называл мою мать «сестра» и «ты», а она его «вы» и «братец».) Ведь вот я начал как следует, – говорил он, обращаясь к матери укоризненно, – а ты меня перебила... я даже забыл, на чем остановился. На так слушай, сестра, что я тебе скажу: ты ведь не имевши понятия, почему твоя дочь устроила эту самостоятельную поездку, а я прекрасно знаю, откуда это у нее. Смольный институт наводнили новыми учителями. Эти дуроломы и нажужжали девочкам в уши о самостоятельности, о сближении с народом... Ну-с, милая племянница, теперь ты сблизилась с народом, можешь, кажется, понять, насколько это приятно для порядочной девушки! А сейчас я хочу поговорить с тобой о вещах еще более серьезных. Скажи, как ты смела так нагло, так заносчиво и дерзко держать себя с Иваном Ивановичем, с этим во всех отношениях прекраснейшим и достойнейшим офицером?

– Дядя, дорогой, умоляю вас, скажите мне, неужели если бы вы были на месте этого офицера, вы стали бы доносить родственникам на молодую девушку? Нет, нет, дядюшечка дорогой, вы никогда не запятнали бы себя этим! Вы, конечно, строго пожурили бы виновную, но наушничать на нее, ябедничать, доносить никогда не позволили бы себе!

При моих словах дядю передернуло от брезгливости: в житейских делах он был человеком малосообразительным, и, вероятно, ему не приходила в голову обратная сторона поступка его офицера. Он с минуту молчал, вероятно обдумывая, как бы с честью вывернуться из истории, принимавшей неожиданный для него оборот.

– Видишь ли, моя милейшая, но дерзкая на язык племянница... Ты прежде всего должна молчать, когда старшие с тобой разговаривают. К сожалению, тебе даже и этого не сумели внушить твои гениальные учителя. Знаешь ли ты, почему надо повиноваться старшим? По обыкновению, не знаешь! И это опять я должен тебе объяснять. Так слушай же: повиноваться старшим необходимо уже для того, чтобы впоследствии повелевать другими...

– Да мне же никогда не придется повелевать. Не буду же я, как вы, дядюшечка, полковым командиром или каким-нибудь начальником?

– Нужно отдать тебе справедливость: ты пренесноснейшее создание, и язык твой – враг твой! В царствование блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны тебе бы его отрезали! Да, весьма печальны, мой друг, результаты твоего воспитания! Держу пари, что ты не понимаешь даже, кого ты должна представлять в данную минуту. Не знаешь, конечно, говори же?

– Как это представлять, дядюшечка? Я никого не представляю... – отвечала я в полном недоумении.

– Я так и знал, что ты и этого не понимаешь! Так изволь же запомнить, что ты в данную минуту не кто другой, как обвиняемая, обязанность которой *только* отвечать на вопросы. А кто я в данную минуту для тебя? Ты, конечно, воображаешь, что я твой дядя! Но так ты

думаешь только по своей глупости и полному невежеству! Я в эту минуту для тебя *только* твой судья, и он один может задавать вопросы обвиняемой. Кажется, я все достаточно тебе выяснил, а теперь марш к тетушке и хорошенько извинись за все неприятности, которые ты ей наделала.

Выслушав и от тетушки то же самое, но в иной редакции, я возвращалась в свою комнату с твердым намерением умолять мою мать немедленно уехать домой: мне казалось, что я становлюсь в тягость моим родственникам и что для меня жизнь в их доме представляла не интерес, а лишь одно огорчение.

## Глава XV

### Среди петербургской молодежи шестидесятых годов

*Первое знакомство с людьми молодого поколения. – Вечеринка у «сестер». – Рассуждения, споры, пререкания, взгляды на художественные произведения и искусство, на государственную службу, брак и любовь. – Пение, чтение и танцы<sup>5</sup>*

Шестидесятые годы можно назвать весною нашей жизни, эпохой расцвета духовных сил и общественных идеалов, временем горячих стремлений к свету и к новой, неизведанной еще общественной деятельности. Чтобы дать наглядное представление об этом периоде нашей жизни, необходимо познакомить не только со всеми реформами того времени и с влиянием их на общество, но и с идеями, которые бурным потоком пронесли тогда по градам и весям нашего отечества и энергично будили от вековой спячки. Но для полного понимания шестидесятых годов и этого еще мало: необходимо знать, как начал складываться новый порядок вещей, как распадались некоторые старые формы жизни и постепенно создавались иные основы общественности, вырабатывались новые принципы, как охватило русских людей лихорадочное движение вперед, как страстно стремилась молодежь к самообразованию и просвещению народа, какую непреклонную решимость выражала она, чтобы сразу стряхнуть с себя ветхого человека, зажечь новую жизнь и сделать счастливыми всех нуждающихся и обремененных. Такое небывалое до тех пор стремление общества к нравственному и умственному обновлению имело громадное влияние на изменение всего мирозерцания русских людей, а вместе с тем и на многие явления жизни, на отношение одного класса общества к другому. Всесторонне представить великую эпоху нашего возрождения – задача грандиозная. Моя цель гораздо скромнее. В своих очерках я буду описывать только то, чему была сама свидетельницей, указывая все то новое, что вносило в жизнь молодое поколение, но не скрывая и его слабых сторон.

Идеи шестидесятых годов давным-давно всосались в плоть и кровь русского культурного человека, но многое, о чем тогда горячо спорили, чего добивались с огромными усилиями, теперь представляется наивным, элементарным, а подчас и комичным.

Скучая до невероятности в доме родственников, я со всею страстью молодости мечтала познакомиться с кем-нибудь из «новых людей». Я приходила в отчаяние, что скоро мне придется уехать из Петербурга, а я так и не составлю себе о них ни малейшего представления.

Но моя мечта скоро осуществилась. Недели через две после моего выхода из института, в половине февраля того же 62 года, я с матушкой отправилась навестить наших землячек и дальних родственниц – Татьяну Алексеевну Кочетову и Веру Алексеевну Корецкую, двух родных сестер, родители которых уже давно умерли. Обе сестры владели неразделенным имением в наших краях Смоленской губернии, верстах в шестидесяти от нашего поместья.

В судьбе обеих сестер было много общего: одна за другою они были отданы в Екатерининский институт, обе вышли замуж вскоре после окончания в нем курса и в то время жили вместе. Младшей из них, Вере Алексеевне Корецкой, было двадцать два года: она прожила в замужестве за студентом всего лишь год и овдовела уже два года тому назад. Старшая, Татьяна, вышла замуж восемь лет тому назад, но прожила с мужем года два и по взаимному соглашению разошлась с ним навсегда: он взял какую-то должность на юге и поселился там, оставив на руках жены маленькую дочку Зину.

---

<sup>5</sup> Мои первые знакомства с «новыми людьми», посещения вечеринок, разговоры, споры, речи, слышанные мною в то время, я подробно описывала моей сестре, жившей в провинции. После ее смерти я нашла у нее мои письма и пользуюсь ими, как материалом для моих воспоминаний о молодежи шестидесятых годов. (Примеч. Е. П. Водовозовой.)

Знакомые называли обеих сестер «вдовицами», хотя старшая, Татьяна, была, что называется, соломенной вдовой. Обе они были искренно привязаны друг к другу, нанимали сообща одну квартиру и тратили на жизнь средства, не считая, кто из них вносил в хозяйство больше, кто меньше. Единственным поводом к размолвке между ними служило воспитание семилетней Зины, которую обе они горячо любили, но Вера в свои отношения к племяннице вносила более страстности, точно ревнуя ее к сестре, как будто досадуя на то, что ее права над ребенком менее значительны, чем права родной матери.

Материальные средства сестер были очень скромны: Татьяна раз навсегда отказалась от какого бы то ни было вспомоществования со стороны мужа, мечтая только о том, чтобы он оставил ее в покое. Существовали они на деньги, получаемые со своего имения, а также за уроки музыки и языков, которые обе они давали в частных домах и в одном известном тогда пансионе. Обе они имели огромный круг знакомых: младшая, Вера, по мужу знала множество студентов и молодых девушек, а у старшей были связи в педагогическом и литературном кругах. Они вели деятельный образ жизни: днем были заняты уроками, вечером посещали лекции, вечеринки, и сами принимали у себя гостей два раза в месяц.

Зная мою мать за безукоризненно честную женщину, хорошо изучившую на практике сельское хозяйство, в котором сами они ничего не понимали, они просили ее посещать их имение несколько раз в год, внимательно приглядываться ко всему и сообщать им, как ведет дело их управляющий, не следует ли заменить его другим, нельзя ли поставить их хозяйство так, чтобы оно давало больше дохода. Они предлагали денежное вознаграждение за этот труд, так как он требовал значительной затраты времени, но моя мать просила их об одном: взять меня под свое крылышко, перезнакомить с их знакомыми, посещать вместе со мною лекции и чтения, на которых они бывали. Она рассказала им, как я тоскую в неподходящей среде, как стремлюсь попасть в круг «новых людей». Сестры не только выразили готовность взять меня под свое покровительство, но даже просили мою мать оставить меня у них на все время нашего пребывания в Петербурге. Но та не согласилась на это, решив, что я буду часто их посещать, если только мы поладим друг с другом, могу и ночевать у них в экстренных случаях.

Отправляясь к сестрам в первый раз, я была на седьмом небе от счастья. Судя по тому, что моя мать рассказывал о них, я решила, что обе они принадлежат к людям молодого поколения.

Сестры были очень похожи друг на друга: обе среднего роста, стройные, с мягкими, вьющимися темно-каштановыми волосами, только Татьяна была гораздо плотнее сестры даже с наклоном к полноте и выглядела старше свои двадцати шести лет. Хотя одета она была в простое, черное шерстяное платье, но оно хорошо сидело на ней и сшито было более изящно, чем у сестры. Волосы ее были зачесаны назад «à la chinoise»<sup>6</sup> и пышным узлом заколоты сзади; спереди они лежали красивыми волнами, а короткие из них причудливо завивались разнообразными кудряшками. Такие же кудряшки вились и по шее; ее куафюра<sup>7</sup> говорила об отсутствии щипцов и чего бы то ни было искусственного. С добродушной улыбкою на румяных губах, Таня казалась эффектнее и красивее своей младшей сестры Веры, которая, несмотря на свои двадцать два года, имела вид девочки-подростка: чрезвычайно худенькая, с обстриженными, вьющимися волосами, в очень узком черном платье без какой бы то ни было отделки, которое плотно обхватывало ее удивительно тонкую талию, худенькие плечи и тонкие, как палочки, руки. Ворот лифа заканчивался гладким узеньким белым воротничком, а гладкие узкие рукава – белыми манжетами. Своим нарядом, всею своею худощавою фигурою и строгим выражением детского лица она более всего напоми-

---

<sup>6</sup> «в китайском стиле» (*фр.*).

<sup>7</sup> прическа (от *фр.* *coiffure*).

нала послушника при монастыре. Если Таня была более эффектна по внешности, то Вера приковывала внимание интеллигентными, одухотворенными чертами лица, строгим, суровым взглядом своих умных карих глаз.

Сестры встретили нас как самых близких родственниц и произвели на меня очень приятное впечатление, а семилетняя Зина, живая как ртуть, грациозная и с чудными синими глазками в рамке пышных кудрей, привела меня в такой восторг, что, как только я сняла пальто, я схватила ее за руки, и мы начали с нею скакать, бегать и прятаться по углам. Заметив, что моя мать смотрит с восхищением на прелестную девочку, Таня заметила:

– Да... была бы девочка ничего себе, да «строгая» тетушка до гадости избаловала ее... Подумайте, тетя (так называла она мою мать, а Вера – «крестною»; мы же обеих сестер начали называть по именам и обращались друг к другу на «ты», как они просили об этом): Верка прибежит с урока, не успеет передохнуть и начинает возиться с Зиной, тащит ее в какую-нибудь кузницу или мастерскую, – все это с целью ее умственного развития. Вместо того чтобы освежить свой костюм... посмотрите-ка, ведь он скоро весь разорвется у нее по швам, – она накупает девочке массу игрушек и тоже все это будто для ее умственного развития, а по-моему, только из одного баловства...

– Отчасти я действительно делаю это для ее развития, а отчасти для того, чтобы ей было чем вспомнить детство. Вот у нас с сестрой при воспоминании о нем только мороз по коже подирает: наша мать умерла, когда мы были крошками, а отец заботился только о своей экономке, которая часто без всякого повода колотила нас и на нас же жаловалась отцу, требуя, чтобы он заставлял нас на коленях просить у нее прощения и целовать ее корявые руки. Нет, нет... Зинка не должна проклинать свое детство... Она будет любить своих матерей! Правда? – И с этими словами Вера притянула к себе племянницу и покрыла ее кудрявую головку страстными поцелуями.

– Так воспитывать, как воспитывали нас, конечно, дико, но и тебе нечего свое баловство прикрывать побуждениями высшего порядка: ты без всяких принципов, просто до безумия, прежде была влюблена в своего мужа, а потеряв его, всю страсть перенесла на племянницу...

– Пускай будет баловница, только бы не вышла модницею в маму! – возразила Вера.

В эту минуту девочка вырвалась от нее и потащила меня в детскую показывать свои игрушки: «железную дорогу», «школу», «прачечную», «весы» и множество других игрушек, только что получивших название «развивающих», то есть необходимых для умственного развития детей.

– Зинка, говори, как железная дорога двигается без лошадок? А как это называется? Зачем это сделано? – спрашивала свою племянницу вошедшая Вера. – А кем ты будешь, когда вырастешь?

– Буду учить бедных деток... Они ничего не знают, а я им все расскажу...

– А теперь говори, кто я?

– Мама Вера, а другая – мама Таня. – Вера часто! задавала этот вопрос племяннице, видимо, для того, чтобы лишний раз услышать из ее уст желанное для нее слово! «мама».

– Как у вас хорошо!.. Все так просто!.. – говорила я, прохаживаясь с Верой по комнатам.

– У нас небольшие недостатки, а если бы и были лишние! деньги, нам стыдно было бы бросать их на такой вздор, как обстановка. Особенно это стыдно теперь, когда народ пухнет от голода!.. Ты только что соскочила с институтской скамейки и, конечно, не знаешь, что по части обстановки, одежды и всяких житейских удобств в молодом поколении уже выработано два непоколебимых принципа: человек должен иметь только то, без чего он не может обойтись, и постоянно стремиться к тому, чтобы сокращать свои потребности, довести их до минимума, иметь только самое-самое главное, только то, от недостатка чего страдает!

организм... Понимаешь, – простотою своей жизни каждый современный человек должен стараться все более напоминать простой народ... Отчасти уже из-за одного этого он! будет доверчивее относиться к нам! Существеннейшая же задача тут в том, чтобы деньги, которые остаются у человека за удовлетворением крайне необходимого для него, употреблять не на барские прихоти, а на нужды народа, и прежде всего на его просвещение.

Меня не шокировал ее взвинченный, поучительный тон: я совсем не знала общества, не имела представления, как разговаривают люди между собою, еще ни с кем не сблизилась, кроме институтских подруг. Вот потому-то я с таким напряженным вниманием старалась вслушиваться во все, что она мне говорила.

Очень многие осуждали молодежь шестидесятых годов за то, что она выражалась искусственно, в приподнятом и высокопарном тоне, уснащала речь прописными истинами. И действительно, этим грешили очень многие. Но ведь шестидесятые годы были необычайно эпохой. И все в ней было необыкновенно: кажется, даже температура крови людей того времени была повышена; вся их жизнь шла ускоренным темпом. Но эти недостатки не помешали весьма и весьма многим, нередко даже тем, которые выражались особенно фразисто, проникнуться до глубины души идеалами и принципами этой эпохи. Весьма многие из шестидесятников так усердно работали над своим самообразованием в молодости, что, заняв впоследствии места в учреждениях по крестьянским делам, в гласном суде, в земстве, оказались чрезвычайно полезными деятелями. Из той же молодежи, сильно грешившей в годы юности высокопарным выражением мыслей, вышли люди, отдавшие на служение идеалам шестидесятых годов всю свою жизнь, во имя их приносившие великие жертвы.

Разговор со мною Веры Корецкой шел в поучительно-проповедническом тоне, так как она была пламенной последовательницей идей шестидесятых годов и все высказывала с большим энтузиазмом. Вдруг лицо ее омрачилось, она немного отодвинулась от меня и, окидывая меня с головы до ног суровым взглядом, произнесла:

– Но ты слишком, слишком нарядно одета!

Я сконфузилась и мысленно признала всю неуместность моего нарядного туалета. Уже в институте до меня кое-что доходило об опрощении молодежи, но по части идей в моей голове стоял тогда невообразимый сумбур. Хотя я предполагала, что могу попасть к людям молодого поколения, но все-таки вырядилась во все самое лучшее, что только было у меня.

Когда мы вошли с Верой в столовую, которая заменяла и гостиную, моя мать вдруг спросила ее:

– Разве у тебя был тиф, Веруся, или какая другая болезнь, что ты остригла волосы? Ведь они у тебя такие красивые!.. И у тебя была бы такая же чудная прическа, как у твоей сестры!

– Мне некогда, крестная, тратить время на куафюры! Таня употребляет на свою прическу по часу и более...

– Ну, уж милая моя: ни за какие коврижки не пожертвую своею косою ради твоих принципов! Ах, если бы вы знали, тетечка, – жаловалась она, – как «они» изводят меня за это! Как-то проговорилась им, что люблю свои волосы, ну и насмешек же сыплется с тех пор на мою голову! А вот ей, – указала она на свою сестру, – трудно четверть часа потратить на прическу, а на Зинины затеи У нее всегда хватает времени... Все «наши» считают ее строгой и принципиальной, ну а что касается племянницы, так тут она теряет все свои принципы и всю свою строгость. Уверяю вас, тетечка, я очень уважаю современные идеи, стараюсь придерживаться известных принципов, но нахожу, что нельзя все подводить под них, нельзя же карать человека даже за мелочи, если они никому не вредят, если они не мешают человеку в серьезных отношениях быть принципиальным.

«Какие они обе интересные!» – думала я и мысленно благословляла судьбу, закинувшую меня к ним.

– Постой, постой, Танюша, – возразила матушка. Ведь я настоящая деревенщина: много десятков лет не деревни не выезжаю, всеми корнями давно в землю вросла. . . Мне что-то невдомек, о чем вы толкуете. Скажи, пожалуйста, кто же это «они», про которых ты упоминаешь? Мне как-то чудно, что у мужчин, да еще у молодых, мог образоваться такой взгляд, что женщина должна себе волосы обрезать даже тогда, когда у нее чудная коса! Неужели это для того, чтобы выгадать время? Хорошая коса – такое украшение для нашей сестры! А ведь каждой женщине до гробовой доски хочется выглядеть покрасивее! Да и что тут дурного, если она в то же время человек деловитый! Принарядиться, заботиться о своей наружности такова уже, милая моя, женская природа!

– Если природа женщины так суетна и ничтожна, если ее помыслы преимущественно направлены на пустоту, эту природу нужно стараться изменить к лучшему, – наставительно заметила Вера.

– Видите ли, тетечка, – заговорила Таня, – в самое последнее время «они», то есть молодежь нашего круга, находят, что женщина тратит непроизводительно слишком много времени, что она должна быть таким же серьезным человеком, как и мужчина. Ведь это же правда: наши прически, туалеты, езда по портнихам, визиты, соблюдение разных конвенансов<sup>8</sup>, действительно поглощают всю нашу жизнь. Вот каждая женщина и должна стремиться к тому, чтобы постепенно уничтожать свою пошлость. . . Но я против излишней строгости: зачем «они» все доводят до крайности, зачем требуют, чтобы человек все чувства и привычки, даже к разным мелочам, бросил в жертву принципам! Ну-ка, ты, «жрица принципов», объясни это? – обратилась она к своей сестре.

– Ну, теперь поняла, – перебила ее матушка с лукавой усмешкой. – Вы, должно быть, какие-нибудь сектантки, новую веру сочинили!..

Звонкий смех обеих сестер был ей ответом.

– Да что вы, тетечка, ничего подобного! Цепи рабства разбиты, вот мы и зажили новою жизнью, – говорила Таня. Верочку же замечание моей матери так рассмешило, что она снова и снова принималась хохотать.

– Не попала? Ну, что делать! Я все же рада, что Верусю рассмешила. Цыганка по ладони судьбу предсказывает, а я по улыбке узнаю характер. Думала я, что крестница моя к себе строгонька, а еще более строга к людям. А вот улыбка-то ее мне все и выдала: вижу, что Веруся на редкость доброй души человек, что и суровость-то ее вынужденная!.. Личная жизнь не задалась, бедненькой, а второй раз ей, пожалуй, и не полюбить! И прилепилась она к своей новой вере. . . или как вы там, принципами, что ли, их называете? Вот всю душу-то и хочет она в них вложить. . .

И действительно, улыбка и смех Верочки, что, впрочем, редко случалось с нею, совершенно преображали все черты ее сурового лица, делали его до неузнаваемости добрым, мягким и детски прекрасным.

– Вы не цыганка, тетечка, а настоящая сердцеведка! Я всегда удивляюсь, почему ангелы не возьмут нашу Верку живою на небо! Если мы не голодаем и не холодаем, то благодаря только Зине: Верочка боится, что это повредит ее здоровью, а сама она давно бы и без юбки ходила, и без хлеба сидела.

Когда моя мать узнала, что к «сестрам» сейчас должны явиться гости, она распрощалась со всеми и уехала.

Едва ли существовал в то время семейный дом, где не устраивались бы вечеринки. Если при этом преследовали цели просветительные, то на них читали лекции по различным предметам, нередко целую серию лекций, например, по русской истории. В таком случае лекторы должны были указывать на те стороны нашей прошлой жизни, о которых до тех пор

<sup>8</sup> приличий, обычаев (от *фр.* convenances).

приходилось умалчивать, обращать внимание на все то, в чем могла проявиться самодеятельность общества, если бы наш государственный строй этому не препятствовал, выдвигать тяжелое экономическое положение народа, – одним словом, раскрывать прежде всего мрачные стороны нашей прошлой жизни. Никто не интересовался более внешнею историею – войнами и дипломатическими сношениями. Излагать историю так, как это делали Устрялов и Карамзин, высказывать преклонение перед внешним могуществом России, замалчивать факты, указывающие на произвол верховной власти, – значило подвергать себя насмешкам и презрению. Русских и иностранных классических писателей в то время мало читали, и лекции по литературе устраивались реже, чем по другим предметам. Чаще всего слушали лекции или устраивали практические занятия по естествознанию. Все эти чтения и занятия даже в частных домах привлекали массу народа.

Вечеринки устраивались не только с целями просветительными, но и чтобы повеселиться: на них болтали, спорили, пели, танцевали, затеивали разные игры, живые картины, характерные танцы, произносили экспромтов стихи и речи, речи без конца. Когда спор обострялся и доказательства, сыпавшиеся со всех сторон, не могли убедить многих, присутствующие требовали, чтобы тот, кому прел; мет спора был лучше знаком, сказал речь по этому поводу. Иных и просить об этом не приходилось, – сами вызывались. Иногда эти речи были так длинны и обстоятельны, что скорее носили характер лекции, которая, вероятно, показалась бы теперь крайне элементарною, но тогда была нова для очень многих, и ее слушали весьма внимательно. Стремление учиться и поучать других было всеобщим и сказывалось даже на самых веселых, разудалых вечеринках. Темой речей очень часто были какие-нибудь особенные явления в общественной жизни, а то и просто смешные происшествия в том или другом семействе или кружке. А когда введена была судебная реформа, произносили защитительные и обвинительные речи, осмеивав в них слабые стороны ораторских приемов того или другого адвоката или прокурора.

Нередко увеселительные вечеринки устраивали в складчину. Кто-нибудь просил знакомых уступить для такого случая квартиру, собирал с желающих присутствовать плату по 25–50 копеек и не более, как по рублю, и вручал деньги знакомой, закупавшей все необходимое для угощения. Если на вечеринку являлись в знакомое семейство к людям небогатым, посетители что-нибудь приносили с собою. Тот, кто не имел средств и на это, – не конфузился, с удовольствием ел, что находил на столе. Одним словом, ни хозяев, ни посетителей не стесняли приношения.

Знакомые жили между собою тесною жизнью, часто видались друг с другом и хорошо были осведомлены насчет материального положения каждого. Эти частые собрания удивительно способствовали сближению людей между собою, обмену мыслей, приобретению знаний, облегчали выработку общественных идеалов, помогали даже в борьбе за существование: имея много знакомых, легче было пробиться в жизни, находить занятия, без средств подготовиться к тому или иному экзамену.

Необыкновенное оживление общества в начале шестидесятых годов было совершенно новым явлением. Люди того времени много работали с целью самообразования, с величайшим увлечением учили других, но в то же время и веселились напропалую. Никогда не встречала я позже такого разудалого веселья, не слыхала такого звонкого смеха! И это было весьма естественно: вслед за падением крепостного права продолжались и дальнейшие преобразования, вселявшие великие надежды на лучшее будущее. Все, казалось, ясно говорило, что и у нас наступила наконец совершенно новая, не изведанная еще нами гражданская и общественная жизнь, когда каждый, искренно того желающий, может отдать с пользою свои силы на служение родине. Что же удивительного, что в эту кратковременную эпоху нашего умственного и нравственного расцвета надежды и упования на лучшее будущее быстро перешли в уверенность, что распространение гуманных и демократических

идей, как могучий поток, без остатка смывает всю грязь нашей жизни, что это сулит всем, задавленным трудом, униженным и оскорбленным, великое счастье, что эта эра наступит скоро, очень скоро... Такая легкая воспламеняемость, такие преувеличенные ожидания естественны были в людях, еще не живших общественной жизнью, не имевших в историческом прошлом никакого опыта, ничего, что могло бы хотя несколько просветить их на этот счет. Оптимистическое настроение, охватившее тогда не только юношество, но и взрослых людей прогрессивного лагеря, придавало общественному движению замечательное оживление. Энергическая деятельность шла рука об руку с бурным весельем. Жилось чрезвычайно интересно. Сердце, как горящий костер, пылало страстную любовью к ближнему, голова была переполнена идеями и разнообразными заботами: одни готовились к чтению какого-нибудь реферата, другим приходилось многое что почитать, чтобы возражать, при этом почти всем необходимо было работать для заработка, и в то же время считалось священной обязанностью обучать грамоте свою прислугу, приглашать из лавочек и подвалов детей для обучения, заниматься в воскресных и элементарных школах.

Отношения между знакомыми были задушевные, родственные, без тени светскости и фальши. Принято было все говорить друг другу прямо в глаза. Правда, некоторые злоупотребляли этим, доходили до ненужной фамильярности, навязчивости и бесцеремонности, но ведь все, что вводится и появляется нового, никогда почти не обходится без утрировки. Конечно, и в других отношениях не все шло гладко в этих интеллигентных кружках шестидесятых годов: в них тоже происходили дразги, недоразумения, ссоры, неприятные столкновения. И тогда люди влюблялись и ревновали до безумия, несмотря на то что молодежь того времени смотрела на ревнивца, как на первобытного дикаря, как на пошлого, самодовольного собственник чужой души, не уважающего человеческого достоинства ни в себе, ни в других. Несмотря, однако, на многие слабые стороны совместно-общественной жизни и деятельности, все неприятности, все недоразумения, какие тогда случались, разрешались проще, легче и справедливее уже по одному тому, что люди хорошо знали друг друга, ближе стояли один к другому. К тому же тогда приходилось вести жизнь, преисполненную напряженной деятельностью, и оставалось меньше времени для дразг и мелочей.

Встречая в доме моих родственников людей со светскими манерами, в изящных туалетах, я была поражена внешностью гостей «сестер», доходящею до бедности, и отсутствием в них какого бы то ни было светского лоска.

Опрощение во всем обиходе домашней жизни и в привычках считалось необходимым условием для людей прогрессивного лагеря, особенно для молодого поколения. Каждый должен был одеваться как можно проще, иметь простую обстановку; наиболее грязную работу, обыкновенно исполняемую прислугою, делать по возможности самому, – одним словом, порвать со всеми разорительными привычками, привитыми богатым чиновничеством и барством. Мужчины в это время начали усиленно отращивать бороду: они не желали походить, как выражались тогда, на «чиновалов» и «чинодралов», не хотели носить официального штемпеля. Женщины перестали затягиваться в корсеты, вместо пышных разноцветных платьев с оборками, лентами и кружевами одевали простое, без шлейфа, черное платье, лишенное каких бы то ни было украшений, с узкими белыми воротничками и рукавчиками, стригли волосы, – одним словом, делали все, чтобы только не походить, как говорили тогда, на разряженных кукол, на кисейных барышень.

Это опрощение было вызвано распространением демократических идей, с могучею силою овладевших умами и сердцами русской интеллигенции; содействовали этому и великие преобразования. Освобождение крестьян из-под крепостной зависимости было уже само по себе реформой демократическою; большое значение имело и то, что стены университета были открыты для несравненно большего числа людей, чем прежде, – для семинаристов и

разночинцев, громадное большинство которых были людьми крайне бедными. Закаленные лишениями и тяжелым трудом, они не имели ничего общего с светскими людьми.

В девять часов вечера в квартире «сестер» уже расхаживало много гостей обоего пола. Тут были и бородатые, и совсем безбородые, и медицинские студенты, и студенты университета, и женщины стриженные, и с заплетенной косой, спущенной на спину; мелькали почти все молодые лица.

Гостей на вечеринках не рекомендовали: этот обычай находили смешным, каждый должен был сам рекомендоваться. Молодежь называла друг друга только по фамилиям, случилось, даже каким-нибудь прозвищем, и лишь людей постарше величали по имени и отчеству. Для меня некоторые из посетителей «сестер» так и остались в памяти под прозвищами: многих из них я скоро совсем потеряла из виду; через два с половиною месяца я уехала в провинцию, а когда возвратилась и явилась в знакомый кружок, его состав сильно изменился.

В первую минуту меня особенно заинтересовало то, что в руках почти каждого из входящих была маленькая корзиночка или бумажный тюричок. Принесенное одни клали на стол, другие, извлекая содержимое, шутливо прибавляли что-нибудь в таком роде: «На алтарь общественной пользы приношу сию колбасу». Еще более удивило меня то, что гости принялись сами накрывать на стол: одни расставляли посуду, другие выносили все лишнее из столовой, третьи втаскивали в нее стулья из остальных комнат. Были и такие, которые делали вид, что помогают, но только попусту суетились; опасаясь, что их упрекнут в бездействии, они перехватывали у кого-нибудь стул, завязывали спор, и всюду уже раздавались смех, шутки, остроты.

Во время суматохи не слышно было звонков, а между тем то и дело входили новые посетители. Мужчина высокого роста с умными серыми глазами, с молодежьим лицом, но с проседью в волосах, с симпатичною наружностью проходил по комнате, кивая головою направо и налево и разыскивая кого-то глазами.

– А, словесник, селадон! – кричали ему со всех сторон. Не обращая ни на кого внимания, он подошел к Татьяне, громко поцеловал одну за другою обе ее руки и начал проделывать то же с Верою.

– Ах, господи, Николай Петрович, как это вам не опротивела вся эта старина! – говорила та с сердцем, отдергивая свою руку.

– С дурнушками я и в старину никогда не решался на это, а с прелестными, дорогими моему сердцу «сестрами-вдовицами» буду производить ту же манипуляцию до конца моих дней... – И он обходил гостей, пожимая всем руки.

– И не стыдно вам, словесник, громогласно, как нечто геройское, провозглашать эти амурные поползновения крепостнического закала? – кричал ему вдогонку студент высокий худощавый юноша с чрезвычайно болезненным лицом, густо покрытым веснушками, известный под прозвищем «Смерч», который никого не пропускал без обличения, на всех обрушивался, как ураган, как настоящий смерч, за что и получил свою кличку.

Николай Петрович Ваховский, которого называли «словесником», не успел еще ответить, как Таня подвела мен к нему и начала рекомендовать, как особу, только что соскочившую с институтской скамьи. В эту минуту к не: подошел стройный молодой человек, лет двадцати шести-двадцати семи с удивительно эффектною наружностью.

– Как, это вы, Василий Алексеевич? Когда же вы возвратились?.. – закидывала его вопросами Таня, и щек! ее покрылись густым румянцем.

Я подбежала к Верусе, чтобы разузнать, кто такие был эти гости, как мне казалось, самые интересные из всех пока появившихся посетителей и получила в ответ, что Николае Петрович Ваховский – преподаватель словесности и «человек с прошлым». Я призналась ей в своем невежестве и просила мне объяснить, что значит «человек с прошлым».

– Видишь ли, Николаю Петровичу трудно мириться с формализмом, с казенщиной, со всем официальным... Нее может он выносить и властей с полицейским направлением ем... Все это, конечно, ценные качества, а люди отсталые на все смотрят наоборот, и Ваховскому не раз отказывали от места: ему пришлось переводиться из одного учебного заведения в другое, переезжать из одного города в другой. Вот это-то и значит, что он человек с прошлым. Он сюда переехал с юга, и теперь уже сам не ищет здесь казенного места, а занимается преподаванием в частных домах и пансионах. Человек он хороший, даже очень хороший, но в нем все-таки есть закваска от прежнего времени... Видала, какой он любитель лизать ручки? Но мы ему многое прощаем: ведь он уже немолодой, почти под сорок, естественно, что он не может быть совсем новым человеком. А другой, подле него, – Василий Алексеевич Слепцов. Хотя он самый настоящий человек молодого поколения и известный писатель, но он тоже ценит нашего «словесника», дружит с ним, считает его образованнейшим и хорошим человеком.

Меня поразила внешность Слепцова: белизну его высокого благородного лба и бледных щек резко оттеняли густые, черные волосы и недлинная черная бородка. Однако, несмотря на тонкие, красивые черты лица, оно было неподвижно, как прекрасное мраморное изваяние. Стоя перед Татьяной, он продолжал разговаривать с нею, но ни один мускул не дрогнул в его лице, глаза не меняли своего выражения.

Вдруг дверь в столовую с шумом отворилась, и в комнату ввалился с кипящим самоваром мужик, совсем простяцкий мужик, по виду лет за сорок. Он был в засаленной черной поддевке, в высоких смазных сапогах с напуском, с всклокоченной бородой и с растрепанными волосами, по-видимому не водившими близкого знакомства с гребенкой; только очки, которых в то время почти никто не носил из простонародья, несколько противоречили внешности вошедшего.

– Якушкин, Павел Иванович! – закричали присутствующие и двинулись к нему.

В ту народническую эпоху, когда повсюду слышалась горячая проповедь о сближении с народом, Якушкин знал его непосредственно. С котомкой или с коробом за плечами, набитым незатейливым товаром офеней, предназначенным чаще всего для вознаграждения за пропеты ему песни, которые он записывал, он пешком вдоль и поперек исходил немало губерний. Этот скиталец русской земли, человек без пристанища, семьи и собственности (все его имущество было с ним и на нем), во время своих вечных странствований тщательно присматривался к жизни народа, записывал его песни, пословицы, прибаутки, поговорки, собирал о нем экономические и другие сведения и знал его лучше, чем кто бы то ни было в то время. Якушкин глубоко верил, что теперь, когда народ освободился из-под помещичьей власти, он проявит свои могучие силы, если только ему не помешают сбросить иго невежества. Горячая вера в духовные силы народа, интересные рассказы о скитаниях, простая, открытая душа – все снискивало любовь и уважение к нему всюду, где только он ни появлялся.

– А, словесник, здорово, миляга, здорово! – проговорил Якушкин, заметив своего старого знакомого, Николай Петровича Ваховского. Он поставил на стол самовар, который успел захватить в кухне, так как, по своему обыкновению, вошел в квартиру через черную лестницу.

– А, и ты здесь, паренек? – обратился он к Слепцову и троекратно облобызался с ними обоими.

Странно было видеть вместе этих двух людей – Слепцова и Якушкина, столь различных по виду: первый – молодой, хорошо одетый, стройный, изящный, а второй по внешности простой мужичонко-замухрыга и несравненно более его пожилой, они сердечно обнимались и дружески любовно разговаривали между собой. Дело в том, что хотя Слепцов и не посвящал, как Якушкин, всю свою жизнь на изучение народа, но, несмотря на свою моло-

дось, и он порядочно-таки побродил по России, наблюдая жизнь не только крестьян, но и фабричного люда. Вот эта-то общность интересов и сблизила между собою этих двух людей, совершенно различных по своей внешности, привычкам и характеру.

– Где же хозяйшкы? Где сестры-вдовицы? Подавая мне их! – закричал Якушкин, когда заметил обеих сестер, пробиравшихся к нему среди посетителей, тесно окружавших его.

– Ах вы сизокрылые касаточки! – говорил он, чмокая в щеку то одну, то другую из них.

– А где же наша пташечка? Чай, уж косу отрастила? Иди-ка сюда, девонька, иди!..

Подарчонок для тебя припасен!..

Когда Зина с его помощью взобралась к нему на колени, он начал вытаскивать из своего объемистого кармана плетенки из бересты, кузовочки и разные дудочки и свисточки.

Гости усаживаются к столу для чаепития. Вдруг звонко задребезжал звонок, точно дернутый нетерпеливою рукой, и в комнату вошла стройная девушка среднего роста, лея двадцати двух. Эта цыганского типа особа была поразительной красоты: черные густые, волнистые и курчавые волосы представляли настоящую природную шапку из мелких кудрей; такие же натуральные мелкие кудри служили как бы оригинальною рамкою красному лицу. Яркий румянец ее смуглых щек, черные густые брови дугой, пунцовые, полные губы, изпод которых блестели белые, как алебастр, зубы, живые темно-синие глаза – все отдельно было броско, но вместе представляло гармоническое сочетание и говорило о физической силе, здоровье и о страстном темпераменте. Живая, жизнерадостная, она быстро проходила по комнате, подавая руку направо и налево, по пути кидая вопросы то тому, то другому, и, не выслушав ответа до конца, заливалась веселым смехом. Это была сама жизнь, настоящее солнце в ореоле своих жгучих лучей, весна во всем блеске своей обаятельной свежести, во всей прелести пышного расцвета.

– Тетя Оля, тетя Оля! – прыгала за нею Зина, хлопая в ладоши. Девушка быстро повернулась к ней, схватила ее в свои объятия, но остановилась как вкопанная, разглядывая Якушкина, которого она видела в первый раз.

– Во какой сторонешке цвел-расцвел маков цветик? Какой же удалой добрый молодец красну девицу-красавицу во полон возьмет? – в упор глядя на нее и улыбаясь, спрашивал Якушкин.

– Вот это-то, дяденька, меня самую интересует... – нисколько не смущаясь, отвечала она. – Да здесь об этом не очень любят разговоры разговаривать... – и, несколько изменив тон, она громко прибавила:

– Позвольте отрекомендоваться: Ольга Николаевна Очковская.

– Неправда, не Очковская она, а очковая змея! Даже за один взгляд на себя она впускает смертоносный яд в самое сердце!.. – со смехом кричал Николай Петрович Ваковский.

– Разве это подходящие речи для педагога и наставника? – И Очковская, с шутиливою укоризною покачивая головой, протягивала ему руку.

– Даже и здесь ни на шаг от пошлости! – проговорила новая посетительница. Точно нарочно, чтобы оттенить красоту Очковской, вновь вошедшая представляла по внешности совершенную ей противоположность: с темным, угреватом лицом, неладно скроенная, высокая, с коротко остриженными прямыми волосами, с непропорционально длинными руками и ногами, с гнойными подслеповатыми глазами, она была очень непрезентабельна. Ее физиономия была антипатична и потому, что она всегда имела вид чем-то недовольной.

– Мое нижайшее почтение... – быстро вставая, раскланиваясь с преувеличенною вежливостью и подавая ей руку, проговорил Якушкин; в то же время он комично перекошил глаза в сторону Слепцова, как будто желая обратить его внимание на безобразие вновь вошедшей. Но на мраморном лице писателя не дрогнула ни одна жилка. Слепцов, этот баловень судьбы, щедро осыпанный умственными и физическими дарами, удивительно умел владеть собою: когда он хотел скрыть свои смеющиеся глаза, он опускал густые, длинные ресницы – и тогда

уже никто не мог поймать его насмешливого взгляда. Так было и тут: выражение его лица оставалось бесстрастным.

– Мария Ивановна Сычова, – произнесла новая посетительница в ответ на приветствие Якушкина, не замечая иронии в его преувеличенной почтительности. Здороваясь с другими, она подошла и ко мне, но вдруг как-то вздрогнула и с деланной брезгливостью едва коснулась протянутой мною руки.

За большим столом уже не было места: кое-кто пил чай, сидя на подоконниках, некоторые теснились вдвоем на одном стуле, между тем гости продолжали прибывать. Сычова села на диван за столик, где уже пили чай Вера с Зиной и Очковская, которая притянула к себе девочку, одною рукою закрывала ей глаза, а другою вкладывала ей в рот леденцы, вытаскивая их из своего кармана. Зина звонко хохотала. На небольшом расстоянии и спиной к ним за большим столом сидели: Якушкин, Слепцов, Ваховский и я, так что мне было слышно все, что говорили сзади.

Усевшись на диван, Сычова вынула из саквояжа шерстяной чулок, начала его вязать и обратилась к Вере с вопросом, что это за особа, которую она видит у них в первый раз. Дело шло обо мне, и она выразилась так: «Что это за фрукт?» Та холодно ответила ей, что это их родственница, только что вышедшая из института, и выразила удивление, почему она говорит с таким презрением о девушке, которую видит в первый раз.

– А, так вот что! Когда дело касается ваших родственников, у вас особая мерка при выборе посетителей. Вы никогда не впустили бы в свой круг такую разодетую куклу, как эта, если бы она не была вашею родственницею.

Хотя гости были заняты своими разговорами и я думала, что, кроме меня, никто не прислушивается к тому, что говорилось за маленьким столиком, но Слепцов при последних словах Сычовой круто повернулся в ее сторону и произнес бесстрастно:

– Когда высказывают мнение о своем ближнем, истинная доброта диктует кое-что удерживать про себя... Впрочем, это изречение одного восточного мудреца! – И он как ни в чем не бывало продолжал начатый разговор с соседом.

– Да... Вы не страдаете излишнею снисходительностью к людям, – обратилась Вера Корецкая к Сычовой. – Можно ли требовать, чтобы девушка, только что соскочившая со школьной скамейки, все понимала? Когда мы с Танею выходили из института, то каждая из нас первое время тратила на шляпки и тряпки все деньги, забывая о калошах. Эта, как вы называете, «разодетая кукла» могла бы жить припеваючи в том богатом кругу, в который закинула ее судьба, а она всеми силами рвется в круг людей работающих и образованных. Но по вашим человеконенавистническим теориям за то только, что она надела модное платье, которое и сделали-то ей ее родственники, ее следует с позором вышвырнуть из порядочного круга...

Вдруг Якушкин вскочил с своего места и на дьяконский лад произнес тонким, пронзительным дискантом:

– Не мешайте детям приходиться ко мне, ибо таковых есть царствие небесное!

Все громко расхохотались.

– Когда Сычова приглядится к платью вашей родственницы, она не будет так строго относиться к ней... Ведь вот же мне она прощает мои кораллы! – проговорила Очковская, указывая на нитку красных кораллов на шее, нарушавших однообразие ее скромного черного туалета.

– Я-то никому не прощаю подобных пошлостей, только не хочу с вами говорить об этом... Ведь для вас это все равно что горох в стену! Это вам Корецкая все извиняет... Здесь вообще царствует удивительная справедливость: одной все прощают, потому что она родственница, другой – потому, что она вечно лижет Зинку и сует ей конспекты...

Вера вспыхнула и резко крикнула:

– Зачем только вы являетесь к нам? В нашем доме вы встречаете раздетых кукол и даже таких взяточниц, как я, которая за конфеты Зине извиняет всякую пошлость!

Николай Петрович Ваховский в это время уже встал из-за стола и прохаживался со Слепцовым; указывая ему глазами на Сычову, он проговорил:

– Какой ехидной может сделаться женщина, попирающая законы естества!

Сычова действительно представляла характерный тип озлобленной старой девы; никого не любя, она заботилась только о своем здоровье: приходила в ужас от сквозняков, брюзжала на чужую прислугу за плохо вытертый стакан, с ненавистью обличала тех, кто имел привычку хорошо одеваться, но более всех возбуждали ее злобу женщины, пользовавшиеся всеобщей любовью. Она бывала решительно во всех домах известного круга людей, хотя никто не приглашал ее к себе, никто не приводил ее к знакомым. Лишь только узнавала она, что в том или другом семействе устраиваются «фиксы», даже если то были люди, которых она никогда не встречала раньше, она смело являлась к ним, без всякого стеснения заявляла, что желает познакомиться, и с тех пор никогда не пропускала у них вечеринки, даже в том случае, если хозяева не скрывали антипатии к ней. По своей наглости или скудоумию она не обращала ни малейшего внимания на то, как к ней относятся, продолжала всюду бывать и переносить сплетни из одного дома в другой. Обучаясь акушерству и всегда надевая одно и то же платье, грязное и истрепанное, она, видимо, находила, что этого совершенно достаточно для того, чтобы считать себя особой передовой и прогрессивной, и с великим злорадством обличала каждого, кто сколько-нибудь отступал от предписанной в то время простоты в одежде или обнаруживал недостаточно радикальное исповедание веры. Щедрин говорит, что «ко всякому популярному общественному течению неизбежно примазываются люди, совершенно чуждые его духу, но ухватившие его внешность. Доводя эти внешние признаки до абсурда, до карикатуры, пользуясь популярным общественным движением в интересах личного самолюбия, карьеры или еще более низменных выгод, такие личности только опошляют движение и приносят ему глубокий вред». Эти слова можно было вполне приложить к Сычовой.

Шум и оживление усиливались: многие встали из-за стола и прохаживались, другие группами сидели и стояли во всех комнатах квартиры. Позже других явившиеся садились за стол, закусывали и сами наливали себе чай.

– Отрежьте-ка мне колбасы, – просит один свою соседку.

– Извольте... Нужно бы покрасивее, да лучше не умею, – отвечают ему, подавая.

– Бросьте это... Вы все убиваетесь по отсутствию красоты, а вам бы давно пора понять, что настоящая красота в том, чтобы избавить человека от голода.

Таня схватила меня за руку, когда я проходила мимо нее, и усадила за стол подле себя.

– Можете себе представить, – говорит она, – ищу Павла Ивановича (Якушкина) повсюду и наконец нахожу его в кухне: он свернулся калачиком, подложил под голову свою котомку и спит себе преспокойно. Дуняша предлагала ему диван в моей комнате, наконец, свою собственную кровать, но он наотрез отказался, говорит, что в чистом месте все перепачкает, и улегся в кухне на полу.

– Вот молодчина так молодчина! Такой человек, как он, отрешившийся от всех барских привычек, условностей и затей, имеет полное право считать себя свободным от пошлых предрассудков! – восторгалась молодежь.

– А это что же? – спросил один студент, когда Дуняша поставила на стол подносик с несколькими бутылками пива и графинчик с водкой. – Ведь на наших собраниях уже давно решено вывести пьянство! Оно не только гнусно само по себе, но гнусно и тем, что напоминает пошлый разгул помещиков!..

– Какой тут разгул! – конфузливо и как-то боязливо оправдывалась Таня. – Якушкин уже старик и «без мокренького», как он выражается, не может существовать. Такому человеку можно, кажется, оказать маленькое снисхождение...

– А это, Кочетова, уже прямо подло с вашей стороны... – напал на нее один из студентов. – Раз решено не угощаться спиртными напитками, это правило должны соблюдать все и не делать из него исключения ни для стариков, ни для знаменитостей, если они желают быть в нашей компании. Ведь иначе выйдет, что мы признаем авторитеты.

– Правильно! К черту авторитеты!.. – на все лады кричала молодежь.

– Нельзя же отрицать все авторитеты, например авторитет родительской власти, – вдруг робко заметила я, в первый раз в этот вечер раскрывая рот.

– Не потому ли следует соблюдать авторитет родителей, что они породили вас? Им самим это было только приятно!.. – отрезал самый юный из студентов, известный под прозвищем «Экзаменатор» (по фамилии Петровский), только что усевшийся подле меня, произведивший впечатление мальчика-подростка, гимназиста даже не старших классов. Черты лица его были очень мелки, носик крошечный, вроде придавленной пуговицы, и вздернутый вверх, что придавало ему задорный, комический вид, тем более что он всегда рассуждал о серьезных материях. – Разве вам не известно, – опять обратился он ко мне, – что наши отцы и деды были ворами, стяжателями, тиранами и эксплуататорами крестьян, что они с возмутительным произволом относились даже к родным детям? – После длинной тирады он немного передохнул, но вдруг лицо его озарилось «адской насмешкой», и он, наклоняясь ко мне, спросил:

– Может быть, вы и насчет «боженьки» не вполне осведомлены?

Этот вопрос показался мне до невероятности пошлым, а нотка снисходительного покровительства и иронии в его словах страшно взбесила меня: краска негодования залила мое лицо, и, ничего не ответив ему, я встала и перешла на свободное место у противоположной стены.

Петровский, которого называли «Экзаменатором», потому что он, чуть не в первый раз встретившись с человеком, сейчас же спрашивал, читал ли он ту или другую книгу, имеет ли понятие о том или другом, был в то же время ретивым развивателем и пропагандистом и, вероятно, страдал настоящей манией, зудом, который заставлял его выкладывать другим все, что он сам только что узнавал. Не получив от меня поощрения к дальнейшему распропагандированию моей особы, он уже через несколько минут расхаживал с девочкой лет пятнадцати – шестнадцати, особенно бедно одетой, с умными и живыми глазками. От «сестер» я узнала, что ее зовут Манею, что она ученица одной из них и дочь портнихи, которая в то же время отдает внаем комнаты студентам, а те бесплатно обучают ее дочь, что она учится со страстью, проявляет большие способности к учению и серьезный интерес ко всему, что слышит и читает.

Маня с «Экзаменатором» уселась против меня; он имел вид репетитора-гимназиста, а она – его ученицы; он спрашивал, она отвечала, благопристойно сложив ручки на коленях и со страхом поглядывая на своего учителя, как бы желая удостовериться, не проштрафилась ли она перед ним тем или другим ответом.

– Понимаете, Маня, я уже вам говорил, что вы раз навсегда должны установить одну общую точку зрения, которая поможет вам узнать, к чему должен стремиться человек. Что же, знаете вы это теперь?

– Вот это, что вы сейчас сказали, я как будто не очень поняла, – говорила Маня, конфузливо обдергивая свои рукава. – Только все же я догадываюсь, о чем вы хотите меня спросить... Видно, то же самое, что и Федор Алексеевич мне наемни говорили...

– Сколько раз я вам уже замечал, чтобы вы никогда не употребляли множественного числа там, где нужно единственное. Это не только неправильно, но и унижительно для чело-

веческого достоинства: все люди равны, и вы совершенно такой же человек, как и Федор Алексеевич. Пожалуйста, продолжайте.

– Я хотела сказать... что эти слова... я узнала от Федора Алексеевича... и уж они мне так *понравились*... так *пондра*...

– Ах, боже мой, Маня, понравились, а не *понравились*!..

Маня, видимо так горячо желавшая познакомиться его со словами, которые пришлось ей по душе, но грубо прерванная своим ментором, как-то вся съежилась и растерялась.

– Простите, пожалуйста, я знаю, что вы все говорите на мою же пользу... только уж такая я злосчастливая: чуть что у меня в голове – все и поспутается...

При этих словах юнец вздрогнул, – они точно ударили его хлыстом по лицу. Он так вспыхнул от стыда, что слезы навернулись у него на глаза. Он схватил руки Мани и, горячо пожимая их, просил простить его за нетерпение:

– Сам знаю, что бываю мерзавцем и свиньей... и, право же, это оттого, что мне так хочется, чтобы все поскорее узнали то, что я сам знаю. Простите меня, Манечка, и скажите то, что вы хотели сказать...

Она с минуту смотрела на него в замешательстве и теребила свои рукавички. Наконец улыбнулась и сразу проговорила, точно затверженный на зубок урок, без малейшей запинки, и с лицом, сияющим радостью:

– «Человек должен стремиться к благополучию наибольшего числа людей». Ведь вы это хотели меня допросить? И я, ей-богу же, понимаю это. Мне радостно, даже очень радостно это...

– Прекрасно, Маня, вполне правильно... Но не забывайте, что и при этом нужно разбираться в том, какое благополучие желательно, какое – нежелательно; следовательно, необходимо уметь еще отличать добро от зла, хорошее от дурного. Впрочем, по всему, что я слышу о вас за последнее время, я вижу, что вы начинаете уже кое в чем серьезно разбираться... Ну, а вот вы, барышня, – обратился он ко мне. – Что вы понимаете под добром и злом? Я вижу, конечно, что вы в моднейшем пансионе воспитывались, но ведь там больше насчет «*parlez français*» и «*tenez vous droite*»<sup>9</sup>, но едва ли давали вам рациональные понятия о добре и зле. Если же, паче чаяния, вы это понимаете, потрудитесь высказаться.

Я в упор посмотрела в лицо юнца, которое, когда он конфузился, носило такое простое, милое, детское выражение, но теперь по-прежнему было комично-торжественно. Меня до невероятности злило, что он, этот мальчишка, осмеливается брать со мной, как мне казалось, неподобающий тон, и я запальчиво и, сколько сумела, язвительно ответила:

– Вы очень комичны и навязчивы, господин экзаменатор!

– Тут нечего злиться. Когда вы чему-нибудь путному научитесь, старайтесь не хранить это только про себя... Если же вам вдолбили какую-нибудь глупую теорию или неправильное понятие, пользуйтесь случаем, чтобы избавиться от вздора.

Меня все более сместила его манера держать себя, говорить и поучать, но высказанная им мысль казалась мне правильною и серьезной.

– Почему же вы думаете, что я не умею отличить добра от зла? Я, вероятно, не хуже вас знаю, что понятия об истине и лжи, о добре и красоте, о высоком и низком – вечны, как божий мир, и во все времена будут и были одни и те же.

– Вот и оказывается, что у вас ерунда в голове! Так слушайте же и зарубите себе на носу: понятия и взгляды на нравственность меняются сообразно с духом времени, а вовсе не уподобляются каменным глыбам. Я вам сейчас поясню примером: прежде драли крестьян розгами и плетью, брали взятки, родители насильно выдавали дочерей замуж за богатых, –

---

<sup>9</sup> «говорите по-французски»... «держитесь прямо» (*фр.*).

и все находили это в порядке вещей, считали добрым и хорошим то, на что теперь каждый культурный человек смотрит с отвращением.

Теперь уже более, чем его резкими выражениями, я была уязвлена тем, что и этот, как мне казалось в ту минуту, не крупного полета юнец мог так отбрить меня. Переконфуженная до невероятности, я отправилась слушать разговоры в соседнюю комнату, куда шли и другие.

– Так вы думаете, батенька, присоединиться к государственному пирогу? – укоризненно говорил медик Прохоров своему земляку, молодому человеку по фамилии Кондратенко, недавно окончившему университетский курс.

«Что это за „государственный пирог“? Что может означать подобное выражение?» – ломала я себе голову. Меня приводило в отчаяние, что такая масса слов, выражений и понятий были недоступны мне даже в простом разговоре.

– Что же делать, – было ему ответом, – если помимо службы я ничем другим не могу обеспечить существование моей семьи! Я не одарен никакими талантами, во мне нет и способностей для того, чтобы заниматься какою-нибудь свободною профессиею: я не могу быть ни ученым, ни профессором, ни художником, ни артистом, ни писателем. Уроки, которые давали мне возможность существовать хотя кое-как, и те кончаются, и я остаюсь без всяких средств, а между тем мне подвергывается чиновничье место...

– Полно вам, Кондратенко, вздор городить, – возражал ему медик Прохоров, молодой человек лет двадцати трех, брюнет, с черными глазами и весьма решительным видом. – Ведь только тот, у кого нет никакой энергии, никакой инициативы, никакого чувства собственного достоинства, никакого сознания того, что наступили новые времена, когда каждый обязан ворочать собственными мозгами, не может взять себя в руки, – одним словом, только жалкому сопляку приходится теперь ходить на помочах какого-нибудь директора департамента, тухнуть в канцелярии и заниматься никому не нужным бумагомаранием.

– И я нахожу, что при ваших способностях и при вашем образовании просто преступно идти по старой дорожке, проторенной нашими тятеньками. Я, как и ваш земляк, тоже был лучшего о вас мнения.

– Молодое поколение обязано отыскивать новые пути, соответствующие новым современным требованиям! – кричали ему на разные лады.

– Очень возможно, что это только минутная слабость! Ведь иному трудно сразу сбросить с себя ветхого человека.

– Теперь, Кондратенко, нужно крепко держать себя в руках. Чтобы жить и бороться в настоящее время, нужны люди со стальными нервами, с определенно обоснованными принципами...

– А главное, необходимо прежде всего выяснить, зачем живешь, по какой дороге пойдешь, что будешь преследовать в жизни...

– Может быть, Кондратенко говорит все это с целью узнать, как к этому отнесутся люди нашего круга?.. А возможно, что он делает это с целью открыто заявить нам, что с этих пор он не имеет больше ничего общего с идеалами, дорогими для всех нас? У вас, Кондратенко, может быть, где-нибудь в глубине вашей души есть маленький расчетец на то, что раз вы смело заявляете нам такие ужасные вещи, У нас не хватит храбрости в глаза осудить вас?

– Когда вы окончите обливать меня грязью, когда вы исчерпаете все ваши нравоучения, ругань и низкие подозрения, – я сразу отвечу всем вам. Я вижу, что еще «Смерч» горит нетерпением обличить меня... Хотя это будет перефразировка уже сказанного, но, сделайте одолжение, говорите и вы, – не то с горечью, не то с сарказмом произнес Кондратенко, бледный как полотно.

– Напрасно, Кондратенко, вы вносите сюда столько раздражения. «Ты сердишься, Юпитер, – значит, ты не прав!» Обязанность человека нашего круга – высказывать товарищам все без утайки и фальши... – ораторствовал «Смерч», по-видимому ничуть не задетый

саркастическим замечанием по его адресу. – Мы собираемся здесь не для светской болтовни и презираем тех, кто в глаза говорит одно, а за глаза – другое, как это было в обычае у наших родителей, когда у них сходились обжираться кулебяками и разносолами и для пищеварения беседовали с знакомыми! Ваше желание, Кондратенко, сделаться чиновником показывает, что вы игнорируете одно из главнейших требований молодого поколения – разрывать с прошлого жизнью, с ее обычаями и укладом, с понятиями наших отцов. Мы, молодая Россия, обязаны повергать во прах старые идолы и разрушать старые храмы, чтобы на их развалинах создавать новую жизнь, и эта новая жизнь ничего не должна иметь общего с жизнью старого поколения. Мы всегда должны твердо идти по новой дороге, брать на себя только такую деятельность, которая приносила бы пользу ближнему, а если ее нельзя найти, – создать новую. Конечно, нам предстоит отчаянная борьба с реакционерами, с предрассудками, с своим собственным страхом перед всем новым даже, как это ни странно, с собственным индифферентизмом к общественной деятельности, что так основательно внедрили в нас наши милые папаши и мамыши... Вы упомянули, Кондратенко, что у вас семья... Я не хочу верить, что вы женились из-за прихоти пошляка мужчины. Вы, конечно, выбрали себе такую жену, с которой можете идти рука об руку в общественном деле. В таком случае ваша жена будет помогать вам создавать новую общественную деятельность...

При последних словах Очковская быстро выдвинулась вперед.

– Позвольте, Ольга Николаевна, – запротестовал Кондратенко, – очередь за мною. Я задержу недолго. Я должен сказать вам, господа, что, к сожалению, ничего не мог почерпнуть для себя полезного из ваших речей... У меня примеры на глазах, как сушит, убивает человека чиновничья карьера, и я делал все, чтобы избежать ее. Изобрести для себя новую деятельность гораздо легче на словах, чем на деле. Если я так думаю вследствие умственной тупости и убожества, умоляю вас, придумайте для меня какую-нибудь деятельность вне государственной службы, и если она даже будет очень скромно обеспечивать существование моей семьи, я вам даю слово никогда не сделаться чиновником...

– Как это неделикатно сваливать свои заботы на чужие плечи!.. – кричали ему на разные лады.

– Можете себе представить, ведь Кондратенко уже ушел... – заявил кто-то через несколько минут.

– Ну и черт с ним! – раздалось в толпе.

– Вы знаете его адрес? – спрашивал Слепцов у какой-то дамы и под ее диктовку записывал его в свою книжку.

– Где нужда, там и Василий Алексеевич! – зашептала Таня, наклоняясь ко мне. – Вот попомни мое слово: он завтра же обегает весь город и что-нибудь добудет для Кондратенка... Это самый великодушный, самый чудный из всех наших знакомых.

В это время Веруся, обращаясь к своим гостям, говорила чрезвычайно взволнованно:

– Конечно, вы должны были сказать ему все, чтобы удержать его от чиновничьей карьеры. Но вы говорили с ним как-то безжалостно! Не знаю, как выразиться... как-то совсем нехорошо. Ему самому, видно, все это так тяжело! А у вас не нашлось ни слова участия к нему! Мы должны были сообща помочь ему отыскать новый труд, а если бы это оказалось невозможным, мы обязаны из своих заработков собирать известную сумму и поддерживать его до тех пор, пока он не найдет для себя деятельности, которую мы все могли бы одобрить. А это что же? Руганью и низкими подозрениями выгнать человека из дома! Это ужасно, это просто даже позорно! Если бы вы знали, какие это славные, очень славные люди оба Кондратенко – муж и жена! Мы должны прийти к ним на помощь! Ведь мы же составляем тесный кружок людей единомыслящих, следовательно, должны быть более близки между собой, чем даже родные по крови, – мы родные по духу!.. Это выше, святее и более ответственно, чем родство по крови!

Все как-то притихли, точно пристыженные этими словами. В эту минуту Очковская положила мне руку на плечо, и мы начали прогуливаться с нею. Вдруг из открытой двери маленькой комнаты, заставленной мебелью и шкапами вследствие вечеринки, раздался голос Слепцова:

– Так, пожалуйста, повидайтесь же с ним... ведь директора получают всевозможные запросы из провинции, наконец, он может направить вас к кому-нибудь другому. Имейте в виду, что Кондратенко кончил университетский курс, что он человек с серьезными знаниями, и вашему директору не грех похлопотать за него. Поскорее же известите меня о результате свидания...

– Какое впечатление производит на вас Слепцов? – спросила меня Очковская, когда я вошла с нею в другую комнату.

– Он красив, очень красив... только лицо у него какое-то неподвижное, точно маска...

– Несмотря на его замечательную красоту, меня долги расхолаживала неподвижность его лица, но я начиная убеждаться, что он надевает эту маску умышленно, чтобы скрывать величие своей души.

– Что же вы тут прячетесь, Ольга Николаевна? – заговорил Николай Петрович, подходя к нам. – Я уже заявил публике, что вы хотите поставить на обсуждении кое-какие вопросы. Слышите? Вас зовут!

И действительно, из большой комнаты раздавались страшный шум, топот ног и крики:

– Очковская, Очковская!

– А я расхотела говорить... – сказала Очковская, не двигаясь с места. – У меня уже улетучилось все, что я собиралась сказать...

– Ручаюсь, вам стоит только рот открыть, и на помощи вам явятся и огонь в крови, и пламень в груди... Да идите же!

– Каждая дама в таком случае всегда любит поломаться!.. – бросил Слепцов, проходя мимо нас.

– Неправда! – с досадой крикнула ему вслед Очковская, и его слова точно прищиприли ее: она быстро вошла в большую комнату. Публика из кожи лезла, чтобы представить настоящий раек театра: кричала, топала ногами, вызывала Очковскую на все лады, а когда та появилась, аплодировала, сколько хватало сил. Ольга Николаевна прижимала руку к сердцу, делала реверансы, раскланивалась по-театральному, но, как только начала говорить, сделалась серьезною, с каждым словом все более увлекаясь.

– Я хочу поговорить насчет последних слов «Смерча». Он и очень многие из вас утверждают, что жену должно прежде всего выбирать для того, чтобы иметь возможность работать вместе с нею для общественной пользы... Следовательно, вы ищете в браке только пользы и выгоды для ближнего, а я нахожу, что вступать в него следует не с утилитарными целями, а только по взаимной страстной любви.

– Ерунда! абсурд! – кричали со всех сторон.

– Оказывается, – с запальчивостью перебила их Очковская, – что вы не понимаете, что такое свобода слова, а еще называете себя «молодою Россиею», «молодым поколением», «носителями прогрессивных начал и идеалов»! Прежде выслушайте, а потом хотя камнями побивайте...

– Вы знаете, – тягуче и с ненужной обстоятельностью заговорила Сычова, – что камнями вас никто не собирается побивать, но после таких слов в порядочном доме вам не протянули бы руки.

– Убирайтесь вы в ваш порядочный дом! – закричала ей Вера во все горло.

– Ведь и пошлость имеет свои границы... – резко возразил Ваховский, в упор глядя на Сычову. Но та не сконфузилась, не тронулась с места и, хотя на нее все поглядывали, кто с гримасою, кто с насмешкою, продолжала брюзжать:

– Смазливая девчонка, вот за нее и готовы каждому горло перервать!..

– Продолжайте же, Ольга Николаевна, а госпожа Сычова в это время приготовит для вас новый камень, но не из особенно смертоносных, – заметил Слепцов.

– Видите ли, – заговорила Очковская, – я все более чувствую, господа, что мои взгляды расходятся с вашими. Мне уже давно стало казаться, что я воровски пользуюсь вашим добрым отношением ко мне. Вот это-то и заставляет меня откровенно раскрыть перед вами мой символ веры. Начну с моего прошлого: до девятнадцати лет я прожила в полном довольстве. Меня обожали родители; хотя они имеют хорошие средства, но богачами их нельзя считать, а между тем они исполняли не только все мои желания, но, с их точки зрения, даже прихоти: выписывали журналы и книги, какие только я просила, позволяли брать уроки у дорогих учителей, хотя находили, что я достаточно всему обучена, так как выучили меня четырьмя иностранными языкам. Говорю об этом для того, чтобы показать, как они всегда считались с моими желаниями, хотя очень часто не могли сочувствовать им. Дозволили они мне брать уроки и у Николая Петровича Ваховского, когда он появился в нашем городе. Уже ранее, чем я начала занятия с ним, мне стала претить провинциальная жизнь, мое положение сонной царевны в сонном царстве, а тут под влиянием Николая Петровича мне окончательно опостылела такая жизнь, и на этой почве у меня то и дело начали являться размолвки с родителями. Как раз в это время у меня явился жених, богатый, молодой, образованный, даже красивый. Я находила его весьма порядочным человеком, и, если бы я сказала ему: «Будем работать для блага ближнего, устроим школу, больницу», он, несомненно, на все согласился бы, но я не чувствовала к нему страстной любви и отказала ему. Родители были крайне возмущены. Они находили, что у него все, о чем может мечтать девушка: молодость, красота, богатство. Последнее, по их мнению, важно было для меня потому, что почти все их состояние после смерти Должно перейти в руки моих братьев. Как только я отказала блестящему жениху, так отношения с родителями обострились: между нами явилось какое-то взаимное озлобление. Если бы я ограничилась отказом жениху, мои родители, вероятно, со временем примирились бы с этим, но не знаю, что со мною сделалось. Точно кто-то толкал меня говорить им резкости и безжалостные вещи, я точно мстила им за то, что они осмелились желать этого брака. Но все это я сообразила впоследствии, а в то время во всей считала себя правою. Кончилось тем, что я разошлась с родителями и уехала в Петербург. Если бы вы знали, как у меня до сих пор обливается сердце кровью, как мне ни достает их ласки, забот, как я убиваюсь из-за того, что поступила с ними жестоко и несправедливо. Видите ли я и в этом сильно расхожусь с вами. А мои воззрения на брак диаметрально противоположны вашим. Как это ни странно, но ваши взгляды, по крайней мере тех из вас которые говорили со мною об этом, сильно совпадают со взглядами моих родителей, но у вас они, конечно, более общественного характера. Расчет на выгоду как у вас, так и у них, а мне он одинаково противен. Считаю своею обязанностью заявить вам, что в браке я буду руководиться не общественными соображениями, а исключительно моими личными чувствами. Моим мужем будет только тот, кто заставит биться мое сердце от радости и счастья. Вот какая разница между вашими и моими взглядами. Вы заботитесь только о благе ближнего, а я, презренная эгоистка, прежде всего для себя мучительно хочу личного счастья. Должна сознаться, что в этих мечтах я то и дело забываю о ближних... В этом я оправдываю себя в собственных глазах тем, что только любовь, одна любовь может дать женщине настоящее нравственное удовлетворение, делает ее лучше, более доступною великодушию. С моей точки зрения, только брак по страсти может дать женщине настоящую энергию для общественного служения, только он один даст ей возможность приносить истинную пользу ближнему. А когда в браке руководятся не страстью и любовью, а даже возвышенным расчетом, женщина не получит никакого счастья, следовательно, и никакого удовлетворения: понятно, что и ближнему, в таком случае, не будет никакой выгоды... Как антипатичны мне ваши взгляды на брак, так антипатичны мне

и ваши взгляды на поэзию. Когда я раздумываю о них, вы представляетесь мне настоящими убийцами и палачами. Да вы и есть настоящие убийцы!.. Вы убиваете все грезы молодости, все лучшие мечты о счастье, всю поэзию жизни! Вы высмеиваете художественные произведения, искусство, а я... я обожаю все, что носит печать поэзии. Так вот какая пропасть лежит между вашими воззрениями и моими! Я все сказала: гоните меня из вашего круга!

Поднялась целая буря: одни кричали одно, другие – другое, многие поднимали руку вверх, показывая этим, что желают говорить, топали ногами, свистели, чтобы заставить себя выслушать, но, кроме отдельных выкриков, все слилось в беспорядочный хаос голосов. Наконец Ваховскому удалось энергично закричать:

– Я буду руководить прениями. Выступайте со своими возражениями в том порядке, в каком вы стоите в настоящую минуту. Господин медик, вам говорить первому...

– Вы, Очковская, сами прекрасно понимаете, что проповедуете культ узкого личного эгоизма. Если бы вы руководились стремлением к общественной пользе, с кой-какими вашими взглядами еще можно было бы помириться, но вы всюду на первом месте ставите удовлетворение личной страсти... И все это вы высказываете с таким пафосом, что можете даже людей, нетвердых в принципах, просто смутить...

– Все ваши страсти и любви, – задорно прокричал другой, – только рутина, старый хлам, который давно пора выбросить за борт!

– Конечно... конечно, – авторитетно подтвердил Прохоров, – художественные произведения, а тем более музыка, живопись, ваение и вообще все искусство созданы только для богачей, для улучшения их пищеварения.

– Исключительно для барского самоуслаждения!

– И вы думаете, Очковская, что, поставив страсть во главу угла, вы открыли Америку? Ведь и до вас многие руководились такими же африканскими воззрениями.

– Люди, поженившиеся по страсти, драли, как и прочие, своих крепостных и предавались разврату на стороне!

– Дайте же мне, наконец, сказать... Слова прошу, слова... – силился перекричать других один из студентов, не в силах более ожидать своей очереди. – Видите ли, господа, вероятно, многим из вас казалось, что романтизм давно отжил свой век. Но если последовательницею его является такая прогрессивная особа, как Очковская, это означает, что он еще силен. Имейте же в виду, Очковская, что романтизм всегда питал только гнилые иллюзии и тянул русских барышень не к живой общественной деятельности, а к пуховику, вызывал лишь слезы при виде безвременно погибшего воробья.

– Да знавали ли вы, – перебил его другой, – людей поженившихся по страсти, которые не закисло бы, не оступели, не опошлились в этой узкоэгоистической, сентиментальной сфере чувств, которые бы шли вперед по пути прогресса, занимались просвещением, двигали науку вперед, улучшали бы жалкое положение мужика? Нет, тысячи раз нет!

– Смерть диким страстям и заоблачным парениям! – эти и подобные им замечания сыпались без промежутком часто даже двое и трое кричали зараз, и Ваховскому приходилось останавливать то одного, то другого словами: «Дай! те же сказать Иванову». – «Тарасов, – вам говорить».

Вдруг «Смерч», с глазами, налитыми кровью, начал внезапно и энергически проталкиваться через толпу.

– Не ваша очередь! – остановил его Ваховский.

– Входя в порядочный дом, – грубо отрезал ему «Смерч», – я не желаю иметь дело с городскими и полицейскими; с благоговением и трепетом относиться к вашим распоряжениям и словам я тоже не желаю. Какой вы мастер руководить людьми, доказательство налицо – госпожа Очковская. Это вы вбили ей в голову такие гнусные взгляды и принципы! –

И «Смерч» резко отстранил рукой Николая Петровича, подошел вплотную к Очковской и, свирепо уставившись в нее, взволнованно продекламировал:

Пускай ты верен назначенью,  
Но легче ль родине твоей,  
Где каждый предан поклоненью  
Единой личности своей?

– С таким трагизмом и драматизмом, как вы, я не умею декламировать, но я могу лично вам ответить тем же Некрасовым:

Суждены вам благие порывы,  
Но свершить ничего не дано.

– Это нехорошо. Это слишком зло для вас, мое прелестное дитя. – И с этими словами Николай Петрович схватил обе руки молодой девушки и поцеловал их.

Молодежь с хохотом кричала ему:

– Это что за допотопные нежности!

– Ах вы сентиментальный словесник, брехун!

– Как есть настоящий эстет!

– Хотя здесь не очень любят правду слушать, – опять завела свою машинку Сычова, – но поцелуи ручек, нежные эпитеты – все это до невероятности пошло и возмутительно. Я уже заметила, где только заведется смазливая девчонка, там она всегда понижает нравственный уровень.

– Почтеннейшая акушерка! – вдруг произнес «Экзаменатор», очутившийся подле нее. – Почтительнейше обращаю ваше внимание на то, что вы говорите в пространство. – И он указал ей рукою на публику, которая уже разбрелась по комнатам и разбилась на несколько групп.

– Во-первых, я не акушерка, а еще буду акушеркой, и очень горжусь этим, а во-вторых, я с вами разговаривать не хочу, – отрезала Сычова.

– А в-третьих ничего не будет? Пожалуйста, чтобы было и в-третьих. Вы не желаете? Тогда я сам выполню этот номер!.. Так вот-с: хотя со взглядами госпожи Очковской я не вполне солидарен, но эпитет «смазливой», данный вами особе поразительной красоты, не согласен с правдою, которую вы сами так отстаиваете, и продиктован вам гнусным чувством, называемым завистью. Но это не мешает мне уважать вашу будущую профессию и с восторгом думать о моменте, когда вы у колыбели новорожденного человечества... – Он, видимо, желал прибавить еще что-то язвительное, но спохватился вовремя: саркастическая улыбка передернула его детское личико, он не выдержал, расхохотался и, как школьник, юркнул в сторону.

Николай Петрович долго пытался заговорить в кружке споривших, но общий говор заглушал его голос. Наконец ему удалось перекричать других:

– Не могу согласиться с вашими взглядами на художественные произведения. Вы забываете о том, что они возвышают и облагораживают душу. Если вы уничтожите их, вы низведете человека до скота. Вспомните Лира, который сказал...

– Это вымысел. Может быть, и красивый, но все-таки вымысел Шекспира. К тому же короли и бары всегда так рассуждали, всегда думали только о самоуслаждении в то время, когда народ пух от голода и прозябал в невежестве...

– А я вами недовольна, очень недовольна, мой дорогой, дорогой наставник, – выговаривала Очковская Ваховскому. – Неужели в защиту поэзии и искусства вы могли сказать

только то, что сказали? Если бы я умела говорить, я бы сказала такую речь, такую, стены затрещали бы, и присутствующие покраснели бы от стыда, что отвергают такие великие дары неба. Да, уж доподлинно правда: «Бодливой корове бог рог не дает»!

– Как же говорить? Ведь я не подготовился к такой речи.

– Говорите экспромтом. Почему же вы не можете сказать речь в защиту ваших излюбленных художников слова?

– Словесники всегда говорят по тетрадочкам и записочкам!..

– Все эстеты – фразеры: такими фразами, как «облагораживают», «возвышают», они могут сыпать сколько угодно, но большего от них не ждите, – с хохотом кидали Ваховскому со всех сторон.

– У меня сердце разорвется от боли, если о вас будут говорить такое... – И Очковская дернула за руку Ваховского и толкнула его в центр круга.

Его симпатичное лицо вдруг приняло восторженное выражение, и он заговорил с большим одушевлением:

– Как можете вы, мечтающие об общественной пользе, об осуществлении высоких идеалов на земле, о самоотвержении, о борьбе с общим нашим врагом, повторяю, как можете именно вы отвергать великое значение наших писателей-художников? Отрицая жизненные удобства для того, чтобы свои силы, материальные и духовные, нести на алтарь общественной пользы, вы, молодое поколение, заслуживаете высокого уважения и подражания... Но ваше преклонение только перед тем, что полезно, доводит ваш утилитаризм до отрицания в человеке всех эстетических потребностей, вложенных природою в сердце человека: это уже преступление против духа святого. Живой интерес к художественным произведениям и искусству создает высокое духовное наслаждение, дает утешение, вытравляет мелочность, грубость, всякую накипь житейской пошлости, приносит забвение от забот, внушает каждому возвышеннейшие побуждения. Человек, не развивший в себе способности и умения наслаждаться художественными произведениями, если только не сверхъестественно щедро одарен от природы, в громадном большинстве случаев – эгоист, сухое сердце, неспособное на великодушные поступки. Боже мой, разве можно отрицать великое значение художников слова! Они заставляют человека задумываться над такими явлениями жизни, которые обыкновенно проходят совершенно бесследно, они учат нас мыслить и любить своих ближних. Как в русской, так и в иностранной литературе немало произведений, в художественных образах изображающих людей той или другой эпохи с их радостью и горем, с их надеждами, разочарованиями и жизненной борьбою, – они дают нам представление о людях известной эпохи в более ярких, выпуклых образах, чем это могут сделать самые драгоценные исторические документы. Великий талант художника может изобразить человека столь возвышенно-благородной души, что его образ вечно будет носиться перед вашими духовными очами, и вы будете употреблять всевозможные усилия, чтобы достичь его нравственной красоты, или наоборот – в яркой картине покажет вам душевную пустоту, низость и пошлость с такою силой, что вы содрогнетесь от ужаса. Художественные произведения будят совесть и стыд как отдельных людей, так и целого общества, следовательно, поднимают его нравственный уровень. Молодые друзья! Вы, с безумным восторгом, какой дается только юным, чистым сердцам, рукоплескавшие падению крепостничества, забываете, что уничтожением этой страшной язвы, в корне развращавшей умы и сердца русских людей, вы прежде всего обязаны нашим художникам слова, которые, несмотря на цензурный гнет и жестокие кары, были вдохновенными провозвестниками воли. Вся мерзость крепостничества они наглядно, в художественных образах представляли нам и мало-помалу внедряли в умы сознание необходимости великой реформы. И вдруг вы, с такою страстью и энергиею бросившиеся в ряды истинных просветителей народа, развенчиваете Пушкина, который всю жизнь был вождем нашего просвещения, а между тем он, этот величайший из наших худож-

ников, должен остаться нашею гордостью до тех пор, пока русская речь будет раздаваться в пределах нашего отечества. Мои молодые друзья! Подумайте, откуда у вас взялись бы идеалы и стремления высшего порядка, если бы подходящей почвы для них не подготовляли своими произведениями они, наши великие художники? Постепенно меняя допотопные понятия ваших отцов и дедов, они в каждом новом поколении вырабатывали все более возвышенные взгляды, мысли, стремления. В конце концов это они произвели полный переворот во всем мирозерцании русских людей. Если из ваших рядов, господа, выйдут защитники прав человека, люди, сочувствующие страждущим и обремененным непосильным трудом, герои и борцы за правду, свободу и за лучшее будущее, то этим вы обязаны будете только великим художникам слова. Они, эти властители наших дум, творцы всего, что есть в нас лучшего, всегда учили нас стремиться к самопожертвованию, развивали сострадание и любовь к ближнему, заставляли нас отворачиваться от житейской грязи и обыденщины. Я твердо уверен, что нынешнее отрицание поэзии – простое недоразумение, что оно исчезнет, как дым. Это мое глубочайшее убеждение прежде всего зиждется на том, что вы, молодежь, отрицатели поэзии и искусства, несете во всей концы нашей родины, трепещущей в агонии нищеты, мрака, невежества, произвола и отчаяния, целый груз чудных поэтических надежд и великодушнейших стремлений, и сами вы скоро сознаетесь, кому вы обязаны своими благороднейшими порывами.

Раздался гром аплодисментов, а Ольга Николаевна, с детским восторгом схватив Ваховского за руки, начала кружиться с ним по комнате.

Петровский («Экзаменатор») в ту же минуту вскочил с своего места и запальчиво прокричал:

– Чернышевский, наиболее уважаемый из наших крупных современных писателей, определенно высказал, что произведения искусства не могут выдержать сравнения с живою действительностью, что жизнь прекраснее искусства... И вам, господин словесник, не вредно было бы это помнить...

– Конечно, – возражала Вера Корецкая, – мы не можем придавать такого значения художественным произведениям, какое придает им Николай Петрович. Мы также не отрицаем красоту и прекрасное, но стараемся отыскивать то и другое не в трелях соловья, не в вечернем звоне церковных колоколов, не в маленькой ножке кисейной барышни, а в том, что дает счастье трудящемуся люду, что расширяет его умственный кругозор, его права на свободу.

– Господин словесник, – заговорил медик Прохоров, – чересчур восторженно охарактеризовал писателей-художников: он опустил многие явления нашей жизни, еще более, чем художественные произведения, способствовавшие распространению общественных идеалов, но это вполне естественно в словеснике... Сознаюсь, однако, что он, хотя и односторонне, все же правильно сформулировал результаты их трудов. Наши писатели-художники вместе с другими явлениями жизни много способствовали изменению мирозерцания русских людей. Но необходимо иметь в виду, что Пушкин и другие художники все-таки прежде всего стремятся развивать любовь к красоте... Поймите же вы наконец, господин словесник, что теперь не время с этим возиться... Не забывайте, что Россия

В судах черна неправдой черной  
И игом рабства клеймена;  
Безбожной лести, лжи тлетворной  
И лени мертвой и позорной,  
И всякой мерзости полна.

Так вот-с, милейший Николай Петрович, знайте же, что не чувству красоты нужно теперь обучать, а возбуждать ненависть к рутине, злу, лихоимству. Пусть ваши писа-

тели-художники обличают теперь зло, царящее у нас, пусть учат не подличать, не подлаживаться, не пресмыкаться перед сильными мира сего...

Николай Петрович прерывает его криком:

– Они всегда учили и учат этому.

Прохоров не обращает на это внимания и продолжает:

– Да-с... так пусть же эти ваши художники слова занимаются теперь не опозитивированием красоток у фонтанов, цветков да облачков... да-с, пусть с этим маленько пообождают... Те из них, которые не желают расстаться с подобными сюжетцами, пусть отойдут в сторонку, их песенка спета... Очередь за нами. Да-с, за нами, не художниками, а людьми дела и прозы. Мы, а не они, должны начать переворот в действительной жизни.

– Еще бы: не старикам же брать на себя такую великую задачу! – выкрикнул кто-то из молодежи.

– Конечно, это уж наше дело! – заговорил совсем юный студент, энергично потряхнув своими густыми черными кудрями; при этом глаза его блестели отвагой, силой и задором. – Да, мы должны взяться за это! Мы, молодое поколение, представители новой силы и нового духа! Мы призваны обновить мир! Наша задача – прокладывать новые пути, создавать новые формы жизни, все изменить в нравах и обычаях, все перестроить или, по крайней мере, все перереформировать.

– Этого мало... – прервал его сосед. – Из переустройства и перереформирования ничего не выйдет: необходимо до основания разрушить все старое, чтобы ни одной балки, ни одной подпорки не оставалось, – ведь и те давно прогнили. Нужно, чтобы все новое было действительно новым.

– Таким образом, – заметил Николай Петрович, – вы хотите похерить всю цивилизацию, хотите начать жить с каменного века?

– Прошу слова, – заговорил учитель Яковлев, человек лет двадцати восьми. – Хотя я уж не так юн, как громадное большинство здесь присутствующих, но я ваш душою и телом. Я не совсем согласен с тем, что необходимо до основания уничтожить все старое: мне кажется, можно кое-что оставить. Не только художники пера до сих пор дают кое-что полезное, но и художники кисти могут иногда приносить пользу народу, если в своих картинах они будут изображать его бездолье и произвол наших охранителей. Я могу дать несколько сюжетов для картин и ничего не буду иметь против того, чтобы ими воспользовались. Мне самому они не нужны: я – учитель математики (молодой человек говорил все это совершенно серьезно). Итак, господа, вот вам сюжет для *первой картины*: за недоимки идея с молотка все имущество крестьянина. Полицейских, окружающих его, необходимо представить с зверскими рожами... При этом нужно изобразить, как с одной стороны уводят со двора последнюю коровенку (она должна быть написана изможденной, со впалыми боками), с другой – мужики и бабы рассматривают убогую одежонку хозяев, поступающую в продажу: она вся заплатанная и перезаплаканная и представляет настоящее нищенское рубище. Это может выйти очень недурно, – конечно, если картина будет хорошо написана. Тогда она послужит прекрасной иллюстрацией непроходимой бедности нашего народа. *Вторая картина*: фабричный рабочий перед раскаленной печью. Это, кажется, не требует комментариев, но для художественной разработки я могу прибавить еще кое-что: пусть художник фотографически верно изобразит фигуру рабочего – в рубахе с расстегнутым воротом перед печью, докрасна накаленную, а кругом фабрики лежит снег по колена, глубокая зима... *Третья картина*: до смерти засеченная девушка лежит в глубоком обмороке, а подле...

– Да помилосердуйте с вашими сюжетами! Ведь просто стыдно слушать! Вы так обязательно диктуете темы картин... но ведь среди нас нет художника, который бы мог выразить вам за них свою глубочайшую признательность! – весь красный, вскричал Николай Петрович Ваховский, всплыв до невероятности.

Его слова были покрыты криками неистового негодования, резкими высвистами и топотом ног. Среди этого гвалта и отчаянного шума чаще всего раздавались отдельные фразы: «Как вы смеете прерывать так грубо?» – «Когда вы чуть ли не целый час высыпали вашу ветхозаветную дребедень, – мы молчали...» – «Вот какому пониманию свободы научили вас ваши обожаемые художники слова!» – «Нахал!» – «Крепостник!» – «Обскурант!» – «Вон, вон отсюда!» – и к этому требованию присоединилось большинство, настойчиво повторяя последнюю фразу.

– Опомнитесь! Так унижить... Выговорить такие ужасные слова!.. – вскочив на середину комнаты, не помня себя от волнения, кричала Вера Корецкая. Ее худенькие щеки были мертвенно-бледны, ее руки и плечи вздрагивали, вся ее тщедушная фигурка как-то съежилась. – За одну вспышку... вы выгоняете безукоризненно честного человека! Вы сами наговорили ему хуже того, что он вам... Вы забываете, что он уже старик! Не может же он разделять все ваши взгляды!

– Мы, кажется, основательно освободились от светских приемов, давным-давно говорим в глаза друг другу все, что придет в голову, не заботясь о форме, что сейчас же было доказано... Почему же слова Николая Петровича так возмутили вас? – говорил Слепцов, но по его тону трудно было догадаться, порицает ли он молодежь за фамильярность или добивается только справедливости.

– Так пусть же хотя извинится, – вдруг прокричал кто-то с хохотом, и все подхватили эти слова на разные лады. – Пусть извиняется!.. С паршивой овцы хоть шерсти клок!..

– От всей души приношу мои извинения... Если я позволил себе не особенно деликатно выразить свое нетерпение относительно сюжетов картин господина Яковлева, то ведь и меня здесь не щадят. Но могу вас уверить, господа, что мое ухо уже давно привыкло к вашим эпитетам вроде «брехун», «золотушный эстетик» и тому подобное; они меня нимало не раздражают. Единственно, что ущемляет мое сердце, это ваша кличка: «старик да старик!» Даже такая великодушнейшая особа, как Вера Алексеевна, и та не забывает ее. Позвольте же вам заметить, что я стар только по сравнению с вашей лучезарной молодостью: мне тридцать восемь лет, я считаю себя еще совсем молодым человеком и даже не теряю надежды жениться по страсти.

Дружный хохот и бурные аплодисменты были ему ответом.

Яковлев как ни в чем не бывало продолжал свою речь, точно весь инцидент совсем не касался его.

– Такие картины, – опять начал он совершенно покойно и обстоятельно, – сюжеты которых я привел для примера, могли бы усиливать значение наших обличений и нашей пропаганды. Теперь сделаю вывод из сказанного мною: необходимо уничтожить то, что служило прихоти барства, и оставить из старого все, что может пригодиться на пользу народа.

– Один назовет прихотью то, в чем другой увидит только пользу, – не унимался Николай Петрович.

– Зачем же иметь в виду реакционеров и дураков? – оборвал его Яковлев.

– Ну, насчет этого мне с вами не столкнуться!.. – И Ваховский обратился к кружку молодежи, сгруппировавшейся в другом конце комнаты: – Я хочу поговорить с вами о другом. Вы то и дело нападаете на мою дорогую ученицу Ольгу Николаевну Очковскую... Многие, пожалуй, даже начнут косо смотреть на нее за высказанные ею взгляды на брак и любовь... Но ведь разногласие у вас с нею происходит только по некоторым пунктам. Могу вас уверить, что хотя она и говорит о своем эгоизме, но дай бог, чтобы каждый работал для ближнего так, как она. Что же касается ее взглядов на брак и любовь, – разве уже такое преступление помечтать в молодости о том, чтобы «сердце было согрето жаром взаимной любви»?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.